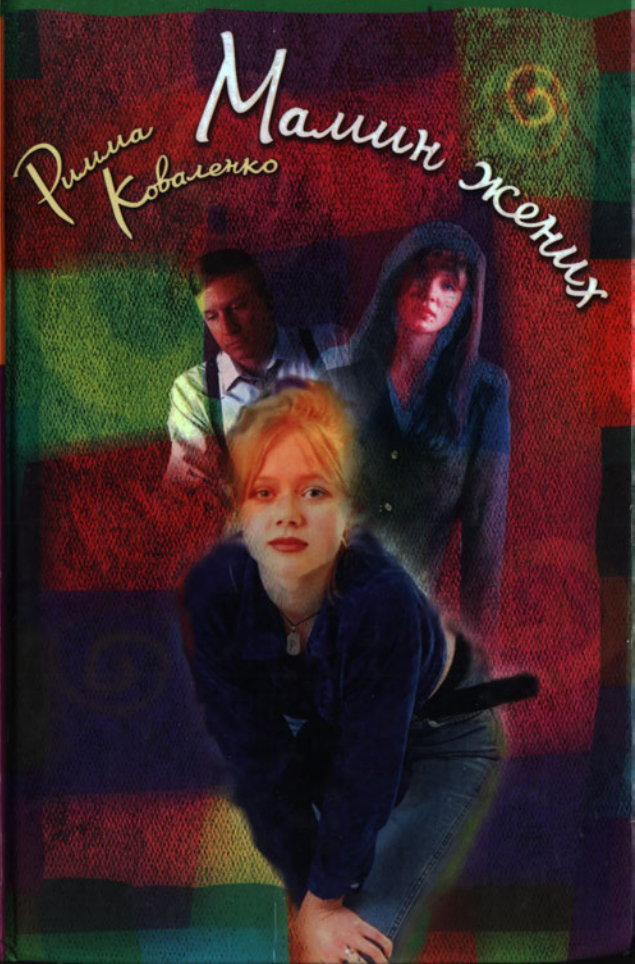
любимые книги девчонок

Римма Коваленко

Мамин жених



любимые книги девчонок

Дорогие девочки!

В этой серии собраны для вас
лучшие книги всех
времен и народов!
, что взахлеб читали
ваши мамы, и те,
которые предстоит полюбить
вам, а потом, быть может,
с увлечением рассказывать
о них уже своим детям.
Вместе с их героями вы будете
смеяться, плакать, дружить,
ссориться и влюбляться.
Эти книги станут гордостью
вашей домашней библиотеки,
к ним вы будете возвращаться не раз,
для того чтобы встретиться
с любимыми героями, а может быть,
и спросить у них совета
в той или иной ситуации.

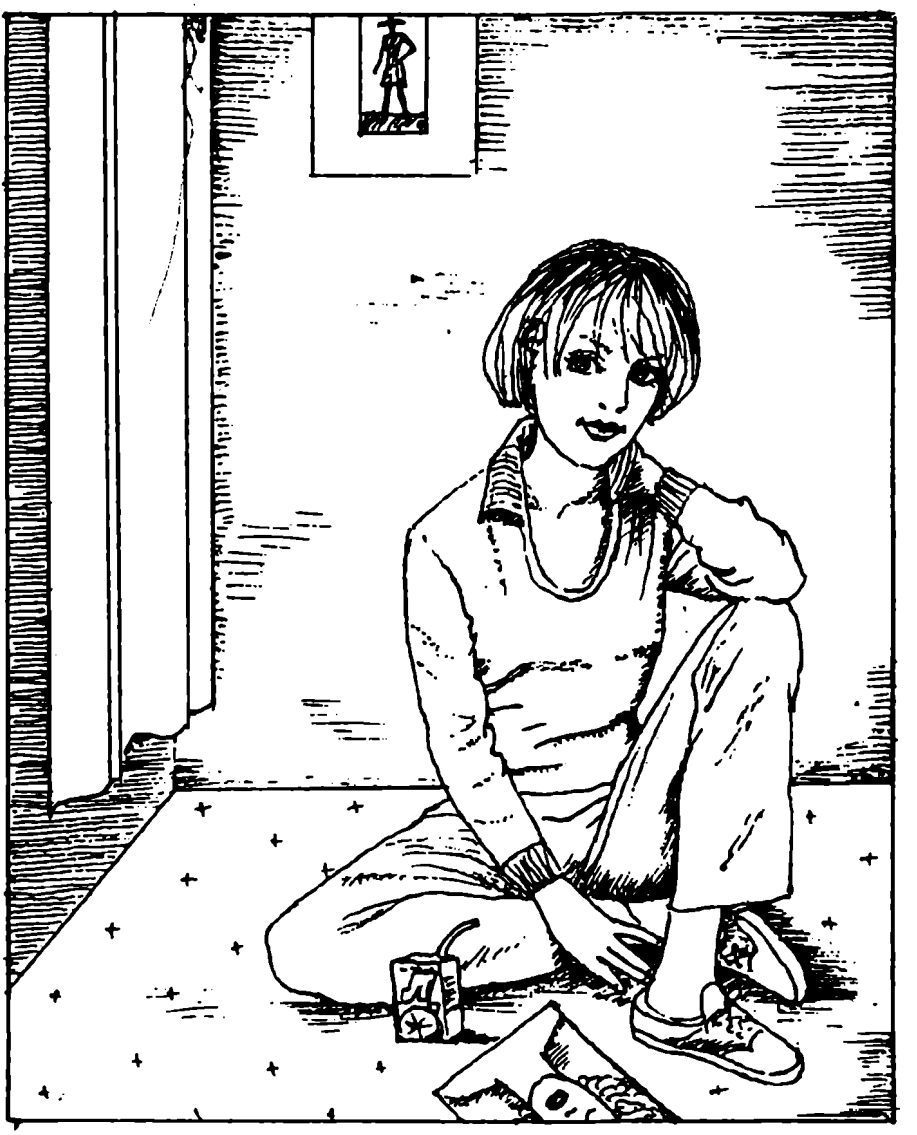
Увлекательного и приятного
чтения вам, милые девочки!

ISBN 5-17-002467-3
9 785170 024674

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ ДЕВЧОНОК

Римма Коваленко

МАМИН ЖЕНИХ



Москва
Издательство АСТ
«Астрель» • «Олимп»
2000

УДК 820/89-93
ББК 84(2Рос)Рус)6
К56

Оформление серии и компьютерный дизайн
студии «Дикобраз»

Художник *В. Мосин*

Коваленко Р. М.

К56 **Мамин жених. — М.: «Издательство Астрель», «Издательство «Олимп», «Издательство АСТ», 2000. — 224 с.: ил. (Любимые книги девчонок).**

ISBN 5-271-00713-8 («Издательство Астрель»)
ISBN 5-8195-0166-7 («Издательство «Олимп»)

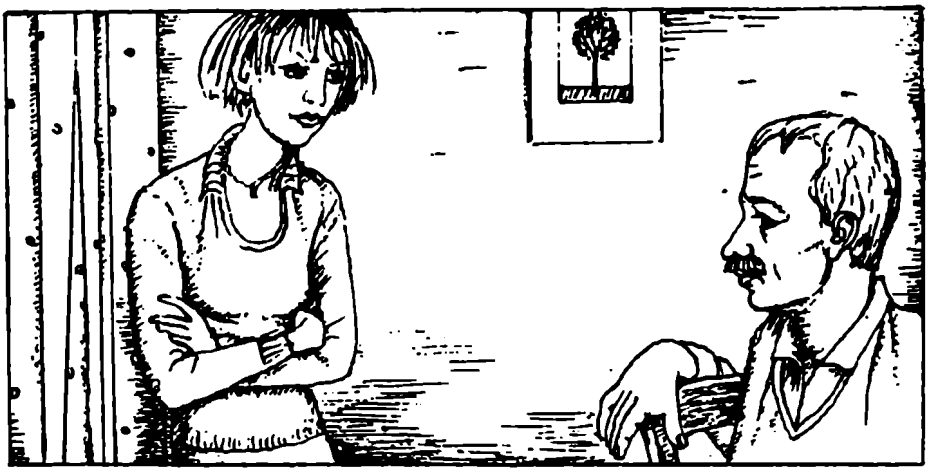
Что делать, если у мамы не складывается личная жизнь? Как быть, если твои близкие — люди вовсе не преуспевающие? Героини этой книги молоды и красивы. Они рвутся в иной, радостный мир. С юношеской категоричностью вглядываются в жизнь взрослых и с удивлением обнаруживают, что все не так просто, как представлялось вначале.

Вошедшие в книгу рассказы известной писательницы Риммы Коваленко о вечных проблемах человеческой жизни: любви и дружбе, верности и предательстве.

УДК 820/89-93
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 5-271-0713-8 («Издательство Астрель»)
ISBN 5-8195-0166-7 («Издательство «Олимп»)

© *«Издательство Астрель», 2000*
© *«Издательство «Олимп», 2000*



МАМИН ЖЕНИХ

Каждый раз он поражал меня своим глубокомыслием. У него была такая игра — озадачивать меня: я удивляюсь, спорю, обнажаю свой недоразвитый ум, а он на этом фоне искрится, как алмаз, как замкнувшийся проводок в сети не очень высокого напряжения. А то как-то он сообщил, что плохая память — благо. Даже больше — это бесценный дар. Все гениальное на земле рождено людьми с плохой памятью. И все счастье, какое только бывает, достастся тоже им. Я даже спорить не стала: какой спор, когда непонятно, о чем речь. Что это вообще такое — плохая память? Врожденный склероз? Моя собственная память серединка на половинку, ни плохая, ни хорошая, так что на этот раз его высокоумные речи не задели меня. У меня к нему другой вопрос, прямой и острый, как стрела: «Так как все-таки насчет того, чтобы жениться?»

О, если бы я могла это выпалить: «Так как же все-таки насчет того...» Он бы не испугался. Я его знаю. Он бы погас, увял. А мама, узнав, прожгла бы меня своим несчастным взглядом: «Всегда ты. Всегда из-за тебя». Из-за меня она не может выйти замуж, устроить свою жизнь. У меня всегда к слову «устроить» просится добавление «по блату». Устроить что-либо можно только по блату, а вот строит человек сам.

Он же все продолжал про плохую память.

«А какое чудо дарит такая память при чтении! Представляешь, можно всю жизнь перечитывать любимые произведения как новые».

Ну, уж это чересчур.

«Почему «любимые»? При чем здесь множественное число? Можно одно, любимое, читать и читать всю жизнь», — хмыкнула я.

Он оценил, улыбнулся. Из-под пушистых усов блеснули, как у людоеда, крупные, одинаковой величины зубы.

«Ты права. Все можно довести до абсурда. Но все-таки согласись: людям с плохой памятью легче стать счастливыми. Они быстро забывают печали и обиды, а это залог счастья».

Он надоел мне. Похоже, что у него самого была плохая память, вот он и слагал ей оды. Я не испытываю к нему никаких чувств. И представить себе не могу, что кто-то его может любить или ненавидеть. Мама, наверное, с большого отчаяния ухватилась за него. Это же такая редкость: не пьет, не курит, не женат и, кажется, вообще никогда не был чьим-нибудь мужем. Такой бессемейный, бездетный старый юноша, мысли которого

крутятся вокруг мировых проблем. Мама считает, что это чисто мужское развлечение. Женщины — о модах, мужчины — о политике. Она готова слушать его скучнейшие размышления о нефтедолларах, президентах, парламентах, только бы он на ней когда-нибудь женился. Я тоже хочу этого. Пусть поженятся. В конце концов он же действительно не пьет, не курит, не матерится. Пусть. Это их жизнь, а не моя, я потерплю. Не очень-то легко жить и знать, что твоя родная, единственная мать не устроила свою жизнь из-за тебя. Я с пяти лет таскаю на себе эту вину. С тех ясных и мудрых детских лет, когда на слова подруг: «Катька слушает», — мама беззаботно отвечала: «Она в этом еще ничего не понимает». А я понимала даже тогда, когда они учитывали мое присутствие, говорили не о маме, не обо мне, а вообще о семье, о детях. «Я думаю, что если бы был мальчик, все было бы проще. Мальчики скрепляют, а девочки вносят разлад». Это сказала мамина подруга Рената. Добрая, любящая меня тетя Реня посеяла в моей душе такую панику, что я всерьез стала думать о том, как бы мне стать мальчиком. Пусть меня остригут, а брюки у меня есть...

Кому должна была мама выдать меня за мальчика, я не помню. Первый, кого я запомнила, был Тимоша. В моей усредненной памяти от него осталось несколько ярких, как из мультфильма, картинок. Берег у моря, крупные синие сливы в моей панамке, открытая дверь в купе поезда, Тимоша и мама стоят, обнявшись, спиной ко мне у окна в проходе. Когда-нибудь, лет через пять или десять, я спрошу у мамы о Тимоше. Тогда она, надеюсь,

скажет. Какие секреты между взрослыми людьми? Мы станем подругами. Я не Реня, я объясню ей, почему на ней так никто и не женился. «Ты была слишком наивная, ты думала, что ради всего такого выходят замуж. А мужчинам нужен цирк с клоунами, слонами, львами и воздушными гимнастами. В любом фильме женщина-победительница обеспечивает этот цирк в своем лице. Она веселит и пугает, заставляет восхищаться и замирать от ревности. Конечно, в жизни ни одна женщина не собирается всю жизнь ходить по канату, пугать и веселить своего мужа, но до свадьбы многих на это хватает. А ты вечно глядела на своих избранников преданными, вопросительными глазами. И еще вы с Реней каждого одаривали безнадежным именем «Последний шанс».

Когда я буду выходить замуж, ни одной подруги не будет со мной рядом. И ни одного совета, особенно печатного, не возьму на веру. А то в газетках печатают: «Вы хотите покорить мужчину? Ничего нет проще! Слушайте внимательно все, что он говорит, при любом подходящем случае хвалите его и кормите. Слушайте, хвалите, кормите, и мужчина никогда ни на кого вас не променяет». Чушь! И ради чего?

Впрочем, в нашем случае есть ответ: ради меня. И жизнь свою устроить мама стремится тоже ради меня. Ей не даст покоя, что у нас неполная семья. Человек, выросший в неполной семье, считает такую семью нормальной и потом повторяет ее в собственной жизни. От этого умирают настоящие семьи, а люди звереют. Я с этим не спорю, я только говорю ей: «Пожалуйста, устраивай свою жизнь. Но зачем ты так трепещешь перед

его приходом? Пирог в духовке. Скатерть на столе. Кто сейчас распивает чай в комнате и на скатерти? Для чего тогда кухня? И эти блузки, бусы. Ты должна его встречать в брюках и свитере. Минимум косметики. И улыбайся, у тебя же прекрасные зубы. Улыбайся, что-нибудь напевай и скажи ему хоть один раз: «Ах, не морочьте мне голову своими серьезными речами». Мама смотрит на меня пристально. Я нечасто позволяю себе такие выпады. Потом, что-то пересиливая в себе, отвечает:

«Ты считаешь, что я перебарщиваю с косметикой? Между прочим, приличного домашнего свитера у меня нет. И вот еще что... ты слишком строга к нему. Он человек не из сегодняшнего дня. У него есть принципы и правила. А его серьезные разговоры мне нравятся».

На фирме, где она работает, мужчины с ней не разговаривают. У них для разговоров специальное место — лестничная площадка. Там они дымят, как пароходные трубы, и рассуждают о курсе доллара. Наш гость, конечно, в сравнении с ними не из сегодняшнего дня. Он не дымит, не рассказывает анекдотов, юмор у него тоже несовременный, но зато собственный. Когда я уклоняюсь от прямого ответа, он ворчит: «Ну вот опять, вместо того чтобы говорить об Испании, начинаешь с Португалии». В общем, кое-что мне в нем нравится: его невозмутимость, опрятность, сияющие чистотой рубашки. Он всегда выбрит, хорошо подстрижен. Никогда не взрывается и не врет. Это не Саша-Шурик-Титарейкин, который чуть не стал моим отчимом шесть лет назад. Тот прибегал с репетиции, стирал свою единственную рубашку под

краном и, пока та сушилась, жарил картошку, и мы ели ее прямо из сковороды, без всяких тарелок. Поев, он брался за телефон. Я с восхищением слушала, как он занимает у всех подряд деньги и врет, врет без оглядки на меня. Одному говорил: «Слушай, у меня две минуты — тут очередь у автомата». Другому: «Я тут у одного чудика. Занял ему сотню, а у него зарплата завтра. Выручи десяткой до завтра». Он довел меня до того, что однажды я открыла коробку, где под маминой шляпой лежали наши деньги, и вручила ему сотню. И потом, подмигивая мне, он слушал, как мама недоумевает: «Просто улетучились. Или я так обсчиталась...»

Но зато его звали Саша-Шурик-Титарейкин. Он танцевал и пел в оперетте, любил мою маму и дарил ей цветы. А этого зовут — жутко произнести вслух — Август. Как какого-нибудь римского императора. Август Бенедиктович. Папу его тоже звали не абы как.

Сущая правда, что люди похожи на свои имена. Этот вылитый Август. И ходит, как Август, и в кресле сидит, как на троне. Интересно, как его звали в детстве — Авгейка, Густик?

Мама его идеализирует. Ее не смущает даже то, что он, как какой-нибудь китаец, приносит тапочки в портфеле и, уходя, уносит их с собой. Он кандидат исторических наук, преподает студентам и считает себя другом молодежи. Так и говорит: «Я — друг молодежи, но табачок врозь». Это значит, что никаких поблажек на экзаменах он своим молодым друзьям не дает. Мне давно хочется спросить у него, почему при своих запасах знаний и интересе к мировым проблемам он не защитил докторскую диссертацию, но вместо этого я почему-то вы-

ясняю, что это такое — «кандидат наук». Почему «наук», если наука одна, определенная — историческая. И почему не «в науку», если кандидат? Кандидат в историческую науку — вот как должно звучать его звание. Август слушает меня и указательным пальцем пушит свои холеные усы, разговор ему не нравится. Зрачки сближаются у переносицы. Похоже, он еще и разглядывает свои усы сверху. Я посягаю на что-то запретное, на что не имею права. Но меня несет. «Кандидат — это ведь стоящий на пороге, у закрытых дверей в науку. Кандидат — это всего лишь претендент. Например, кандидат в президенты, кандидат в депутаты».

«Свою любознательность, — вдруг сухим голосом отвечает он, — надо гасить в библиотеке, листать словари, самой добывать ответ. Иждивенчество не обучает».

Мама страдает от наших разговоров. Когда приходит Реня, жалуется ей: «Катька выпряглась. Никакого почтения к старшим».

Реню все считают доброй. Мама красивая, а Реня добрая. Ее доброта обозначена на ней ямочками — на локотках, на щеках, даже там, где кончается шея, у Рени кругленькая, уютная ямочка. Фигуры своей она не понимает, обтягивается узкими кофтами и юбками. И тут ее ямочки как бы восполняются выпуклостями: круглые, как мячики, груди, круглый живот и даже ноги круглые — дынь ками. От этого все ее мечты и желания — похудеть. Она наваривает огромную кастрюлю риса на воде и съедает ее в три минуты. Потом весь день пьет воду — в воде же никаких калорий, — а вечером приходит к нам взвешиваться.

Я вытаскиваю из-под шкафа напольные весы, и Реня, задыхаясь от волнения и надежды, становится на них, смотрит на стрелку и протягивает мне руки. Это означает, что сама она сойти с весов не в силах. Кастрюля риса и вода, которую она выпила, дают прибавку килограмма в три. Такого злодейства добрая Реня пережить не может, плачет крупными горючими слезами, а я смеюсь.

«Из-за чего я истязалась, — спрашивает она, — лучше бы я съела пять пирожных». Она может съесть и десять.

«Лучше бы ты оставила в покое эти диеты, — говорю ей, — ты совсем не толстая. Ты кругленькая. Такие, между прочим, тоже нравятся мужчинам».

Реня, как и мама, не подпускает меня к себе на равных.

«Кто это тут умничает насчет мужчин, — возмущается она, — что это ты себе вбила в голову? Ты что, действительно решила, что я из-за каких-то мужчин давилась этим рисом? Много им чести. Я просто хочу похудеть. Для себя. Для собственного самочувствия».

«Тогда удвой порцию. Вари две, а лучше три кастрюли и ешь, ешь, пока не умрешь».

Реня вытирает полотенцем лицо, успокаивается.

«Ладно, — говорит, — повеселились и хватит. Ты мне лучше скажи — этот приходил?»

«Приходил».

«И что?»

«Ничего. Что и всегда. На земле, оказывается, не так уж много людей, всего шесть миллиардов. Если их всех собрать в одном зрительном зале, то это будет зал размером всего в три-четыре района Московской области».

«Это он сказал?»

«Неужели я сама додумалась? Реня, чем это все кончится? Он же способен приносить и уносить свои тапочки всю жизнь».

«Это не самый худший вариант», — задумчиво произносит Реня.

Я знаю, какой худший. Уйдет и не вернется. Таких худших вариантов уже было пять. И этот Август Бенедиктович уйдет когда-нибудь. Маму как будто кто заколдовал, обрек на одиночество.

«Реня, — говорю я, — но почему надо обязательно замуж? Тысячи женщин живут без мужа и ничего, даже гордятся своей свободой».

«Не надо изрекать свои глупости от имени такого количества женщин, — надменно произносит Реня. Это ее самая подлая черта: втянуть в разговор, а потом огреть своим презрением. — Женщины разные: есть осмотрительные, мудрые, знают, к кому можно выйти навстречу, а есть восторженные, доверчивые, кто их выбрал, того они и боготворят».

Туманно, но в общих чертах понятно. Я, кажется, сама из доверчивых. Если бы меня кто-то выбрал, я бы из одной благодарности любила бы этого человека всю жизнь. Я говорю об этом Рене, она фыркает:

«Ты? Из благодарности? Вот уж что тебе не грозит, так это благодарность. Ты пошла в своего отца. Сама уйдешь с улыбкой на устах и не оглянешься».

Реня, возможно, просто болтает, но мне ее слова переворачивают душу. Я понимаю, когда Август, умничая, говорит обо мне «разбойный возраст», но Реня зачем так — «с улыбкой на устах»?

«Реня, а ты помнишь Тимошу? Я была маленькая, мы сздили на юг, к морю...»

«Тимоша был женат», — резко отвечает Реня и смотрит на меня злыми глазами: ну, что тебя еще интересует?

«Зачем же он тогда ее выбрал, если у него была жена?»

Ренин ответ сражает меня: она его не придумала сейчас, он у нее был готов.

«Затем, что они всегда выбирают тех, которых можно бросить».

Хоть бы у меня была плохая память, хоть бы мне это поскорей забыть. Подходят, выбирают и даже, если женятся, все равно бросают. С ребенком, без ребенка, какая разница. Так, может быть, в самом деле надо их опережать, уходить с улыбкой на устах, чтобы потом, как мама, не глядеть часами в одну точку, не говорить подругам по телефону: «Нет, я не страдаю, просто беспрерывно болит сердце, будто в него воткнули большой ржавый гвоздь».

Когда-то мне очень хотелось увидеться с отцом. Бывает же так: родители расстались, но оба любят своего ребенка. Я была уверена, что он меня любит, но отвык да плюс еще чувство вины. Представляла, как мы с ним встречаемся тайком, сидим в кафе, едим мороженое, смеемся и не касаемся нашей жизненной трагедии. У него другая семья, другие дети, у меня мама. У каждого из нас — это свое, но есть и общее — наше родство. Он мой отец, я его дочь, и этого у нас никто никогда не отнимет. Я разыскала его адрес и телефон, позвонила и напоролась на его жену. Я очень трусила, волновалась, да и лет мне тогда было две-

надцать, самый нестойкий возраст. Жена прикинулась, что он вроде как рядом, спросила, что ему сказать, кто спрашивает? Ну я и ляпнула: «Дочь».

Тут она мне вмазала:

«Понадобился! Алименты маленькие, а потребности большие? На колготки не хватает?»

Хорошо, что я дослушала, не бросила трубку. Она прооралась и заговорила нормальным голосом:

«Нет его. Уехал. Мы с ним уже три года в разводе. А уехал позавчера. В Петербург. А может, и не уехал. У него же ни одного слова правды. Тебя ведь Катей зовут? Забудь его, Катя. Считай, что он погиб на Великой Отечественной войне».

«Он же родился после войны».

«Ну тогда считай, что он утонул или попал под поезд».

Надо было как-то заканчивать разговор, и я сказала:

«Буду считать, что он упал с балкона».

Она уточнила:

«С шестнадцатого этажа».

Через несколько дней я зачем-то опять позвонила ей и спросила:

«У вас есть дети?»

«Нету. Зачем они тебе?»

«Были бы брат или сестра, я бы их любила».

Она очень удивилась.

«Любить тебе, что ли, некого? Мать люби. А чужих любить не спеши. Еще налюбишься, узнаешь, что это за лихо. Странная ты девочка, жила, жила и вдруг отца вспомнила, теперь вот мне звонишь. Может, ты чего недоговариваешь? Может быть, тебе чего нужно?»

«Мне не от вас, мне от всех людей надо, чтобы они не обижали друг друга и никто ни от кого не убегал».

На этот раз она не удивилась, сказала серьезно и печально:

«Всем это надо».

Больше я ей не звонила. А теперь вот думаю: а ведь я тоже от нее сбежала. Позвонила, познакомилась, расположила ее к себе и исчезла. Может быть, Реня права: без улыбки на устах, но все-таки бросила.

Реня считает меня не только неблагодарной, но еще и агрессором. Она и мама упорно проводят между собой и мной черту: мы — здесь, ты — там, и не переступай. Но я то и дело не только переступаю эту границу, но еще и пытаюсь захватить чужую территорию. «Смотри, что получается, — говорит Реня, — у тебя школа, подруги, двойки-пятерки, мальчики, секреты, всякие свои события. Разве мы с мамой лезем в эту твою жизнь? Что мы о ней знаем? Так, в общих чертах. А ты врываешься в нашу жизнь, как пират на чужой корабль, все тебе надо присвоить, во все сунуть нос». Я не спорю, хотя и могла бы, но недоело толочь воду в ступе. Зачем им врываться в мою жизнь? Они уже в ней были, прожили, она им известна. А я врываюсь совсем не в их жизнь, а в свой завтрашний день. Мне надо в нем разобраться, чтобы потом не ходить с ржавым гвоздем в сердце.

В последние дни Август меня избегает. Не ведет своих высокоумных разговоров, даже не смотрит в мою сторону. Переключился целиком на маму. Она последовала моему совету; они пьют чай на кухне. Дверь закрыта, но кое-что до меня

долетает. Кажется, он собирается в какую-то поездку. И мама хочет ехать с ним, но он не согласен. «Это невозможно. Это валюта. В этом нет никакой необходимости». Мама настаивает на своем, голос ее звучит жалобно, слов не разобрать. Мне хочется открыть дверь и крикнуть ему в лицо: «Уезжаешь? Ха-ха-ха! Что еще за поездка! Получше ничего не мог придумать? Уматывай своим ходом, можешь даже без своей людоедской улыбки. Кандидат наук! Кандидат разбитых сердец — вот ты кто! Это твое звание!»

Он ушел, не сказав мне ни слова. Закрыв за ним дверь, мама уткнулась лицом в пальто на вешалке и стояла так, пока я не окликнула. Глаза у нее были невидящие, лицо серое. Она вернулась на кухню и стала там мыть посуду. Потом включила телевизор. На экране мотался весельчак заяц, она глядела на него, но вряд ли видела.

«Мама, — сказала я, — не переживай. И переключи программу, зачем тебе этот мультфильм? А этого старого господина с пушистыми усами забудь. Знаешь, на кого он похож? На моржа, который сел на диету и достиг больших успехов. Не то, что наша Реня».

Мне хотелось развеселить ее, но ничего не получалось, она не слышала моих слов. Тогда я в отчаянии сказала:

«Тебе надо было родить мальчика. Мальчики скрепляют, а девочки вносят разлад. Я вечно лезу туда, куда меня не просят. Из-за меня ты не можешь устроить свою жизнь. Хочешь, я поступлю в какое-нибудь училище и перейду в общежитие?»

Она ответила, как с ней бывает, совсем не на

мой вопрос. Выключила телевизор, повернулась ко мне и сказала:

«Он не старый. Сорок шесть лет — далеко не старость».

Наверное, гвоздь уже вонзился в ее сердце: она не ужаснулась, что я готова пожертвовать собой — уйти из дома, в ее мыслях был только он, этот Август. И никто ей больше не был нужен, даже родная дочь.

«Он усзжает?» — спросила я, чтобы окончательно во всем удостовериться.

«Да».

«И не придет к нам перед отъездом?»

«Нет».

Но он пришел. Явился через два дня. С портфелем, в котором, как всегда, были тапочки. Как ни в чем не бывало стал переобуваться в прихожей. Я сказала, что мамы нет дома, он ответил: я знаю.

«Значит, вы пришли ко мне?»

«Значит, к тебе».

Он сел в то же кресло, в котором сидел всегда, но я видела, что он уже не здесь, уже отчалил, отплыл в другие дали. Вот уж точно: это не Саша-Шурик-Титарейкин, который растаял, как привидение, при свете дня. Этот хочет уйти, свалить, как у нас говорят в классе, благородно, что-то объяснить, сказать последнее слово. Ну что ж, послушаем. Я сказала себе: держись и не трусь, он же спокоен. Он был даже чересчур спокоен.

«Когда-то, — начал он, — мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. Такой же разбойный возраст. Жил, рос, все знал, даже то, что человеку вообще знать не дано».

Смелость не покинула меня.

«Это история. Давайте поближе к сегодняшнему дню. Вы уезжаете? Вот и давайте об этом».

«Давай. Я действительно уезжаю. И, вполне возможно, не вернусь. Поэтому и пришел к тебе».

«Зачем? Зачем себя так утруждать? Другие уходили и уезжали по-простому. Даже перед мамой не держали речей, не то что передо мной».

«А я держу такую речь. И хочу, чтобы ты ее выслушала. Я хочу, чтобы ты, когда меня не будет, берегла маму, не мучила ее своим дурацким всезнанием, не набивалась к ней в подруги. Мать произвела тебя на свет, и только за одно это ты должна любить и почитать ее всю жизнь. А дружить... Будешь добрым человеком, и будут у тебя настоящие друзья».

Просто не речь, а завещание людоеда. Я взорвалась и сказала ему все, что думала о нем и о таких, как он, кандидатах разбитых сердец. Выбирают, приходят, а у самих в кармане ржавый гвоздь, только и ждут той минуты, чтобы всадить этот гвоздь в доверчивое сердце.

Я не заметила, когда он закрыл глаза и умер. Я запнулась на полуслове, увидела его соскользнувшие с подлокотников безжизненные руки, потом увидела его посиневшие губы и закрытые глаза.

Теперь я знаю, что это такое — закричать не своим голосом. Это когда все у тебя внутри оборвалось от страха и ты кричишь незнакомым тебе сиплым басом. Я закричала: «Ма-ма! Мамочка! Он умер! Что мне делать, мамочка?» Тут я немного пришла в себя и вспомнила номер «Скорой помощи» — ноль три. Набрала его и довольно внятно объяснила, что произошло. Женский голос спросил:

«Сколько ему лет?»

«Сорок шесть», — ответила я и зачем-то стала объяснять, что он не старый, что сорок шесть — это совсем не старость.

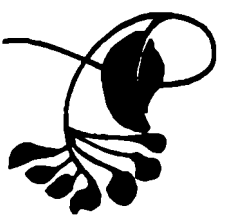
Он открыл глаза, когда в дверь позвонили.

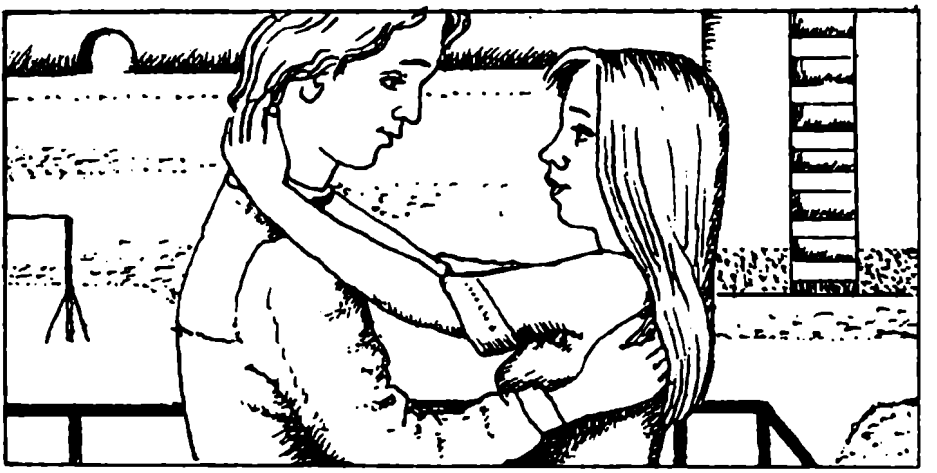
«Катя, — попросил, — не говори ничего маме, не пугай ее».

Потом я слушала его ответы на вопросы врача, и мое собственное сердце готово было разорваться от стыда и раскаяния. От отказывался ехать в больницу, у него на завтрашний авиарейс билет в кармане, в Мюнхен, там ему предстоит операция. Но врач попалась несговорчивая. Она ему даже с кресла не разрешила подняться. Когда принесли носилки, он взял меня за руку и сказал:

«Мы договорились? Ты ничего не скажешь маме? А разговор наш забудь».

Он был прав. Намного легче было бы, если бы я могла все это забыть. Но даже моя память — серединка на половинку — не в силах этого сделать.





МОЙ СОСЕД ГРИГОРЬЕВ

У многих сейчас жизнь неустроена. У нашего соседа Григорьева из квартиры напротив неустроенность провальная. У него не только материальная основа рухнула, но и душа куда-то отлетела.

«У меня была крепкая материальная основа, — говорит он, когда я прихожу к нему. — а теперь я оболочка без души, разума и денег. Я дурак, и вся надежда только на мою дурацкую беспечность».

Он беззаботно проедает свою пенсию за несколько дней, а потом говорит кому-нибудь по телефону:

«Скоро я вам преподнесу финик. Скоро вы завалите мой гроб розами и зальетесь слезами, что потратили профсоюзные деньги на цветочки, а не на хлеб с маслом та-а-кому драматургу».

Бросает трубку и глядит на меня, мигая желтыми ресницами. Старенький. Круглые глаза мерцают в омуте морщин, щеки рухнули, второй подбородок тоже опустел и дышит, как у жабы.

«А вот ты, Элен, не заплачешь, когда я умру. Ты даже обрадуешься: наконец-то этот хронический курильщик выключился, перестал отравлять атмосферу».

Я не спорю. Те наивные времена, когда я обижалась, доказывала, что я не Элен, а Лариса, что сердце у меня доброе, прошли. Я вытряхиваю окурки, мою пепельницу, потом посуду, иногда включаю пылесос. В эти минуты мне кажется, что это не я, а какое-то другое, трудолюбивое и безропотное существо приносит пользу ближнему. Григорьев меня поддерживаст:

«Вот если бы все так. Представляешь, какая была бы жизнь? А то ведь слов нагородили до небес, а сами погрязли в пыли и паутине. Преступность их заела! Как с ней бороться, не придумают. А чего проще: надо исправлять преступность и всю нашу заскорузлость чистотой. Надо, чтобы преступники в своих камерах постоянно находились в санитарной самообработке. А они сидят и вшей разводят да передают свои пороки друг другу. И нам всем надо почиститься, отмыться, вылечить зубы, расставить по улицам мусорные урны. И тогда исчезнет грязь из голов, продавщицы перестанут гавкать, а старухи коченеть от безделья на лавках у подъездов. Культ нужен! Культ государственной трудовой санитарии!»

Слушать его одно удовольствие. Сидит старикашка на фоне немытого окна, выбрит с пятого на десятое, домашняя куртка, когда-то вельветовая, в дырах и пятнах и рассуждает о государственной трудовой санитарии.

«Она издевается надо мной, — говорит моя мама моему отцу, — она специально там надрывается, чтобы достать меня. Дома дел — конь не валялся, а она в чужой квартире совершает трудовые подвиги».

Это их любимое занятие: говорить об мне так, будто меня нет рядом. Они умолкают и глядят друг на друга удивленно, когда я подаю голос.

«Стыдно, — говорю им, — сами же могли бы помочь старому больному человеку. Гордились бы, что дочь не выросла равнодушной».

«Этот старый и больной переживет всех, — говорит мама, ее слова опять облетают меня, они предназначены отцу, — у него есть сын и дочь, и внуки постарше нашей альтруистки. К тому же не надо забывать, что этот драматург отпетый ловелас и бабник. Он, конечно, давно не в форме, но я не хочу, не желаю, чтобы моя дочь общалась с ним».

«Не нагораживай, — успокаивает ее отец, он по натуре примиренец и умеет гасить ссоры, — она девочка, в ее душе живет Тимур вместе со своей командой. Это мы от всего такого враз отказались, а им сложней, им этого Тимура не навязывали».

Я понимаю, о чем он говорит: их поколение отказалось не только от плохого, что было в прошлом, но и от хорошего, потому что это хорошее было им навязано из-под палки.

«Зато нам навязывают свободу, — говорю я,— и скоро от нее все сойдут с ума. Уже многие окретинились, потеряли человеческий облик».

На лице у мамы испуг: о чем это она говорит, как это понимать?

«Свободу нельзя навязать, — объясняет папа, — свобода — это выбор. Хочешь — одолевай вершину, а не хочешь — сиди в яме, болоте, будь кретином».

«Нет, нет, — волнуется мама, — пусть она объяснит, что это такое «уже многие окретинились»? Я догадываюсь, что это такое, но пусть она сама объяснит».

Ничего я им объяснять не собираюсь. Пусть читают газеты и журналы. Те разделы, в которых пишут, как уберечься от СПИДа, как удержать мужа, рожать или не рожать, если забеременела в четырнадцать лет. Мне и в школе, с девчонками, этих разговоров хватает.

«Прошу всех успокоиться, — говорю, — лично меня никакая свобода не коснулась. О чем вообще речь? Какая свобода? Руку помощи протянуть не имеешь права. Тут же твой добрый порыв обзовут «трудовым подвигом», а бедного старичка ловеласом и бабником».

Не всегда у нас такие нервные разговоры. Чаще все-таки мир и покой. Все по своим углам: отец читает, мама на кухне или вяжет, я у телевизора или делаю уроки. Иногда мама на весь вечер выключается из семейной жизни, это когда звонит ее школьная подруга Жанна. У этой Жанны всякий раз какие-то любовные трагедии: то ее бросит муж, то любовник, то жена любовника выскочит из-за угла и огрест бедную Жанну хозяйственной сумкой. Когда я была маленькой, мне казалось, что Жанна красавица, что-то такое

большеглазое, кудрявое, с родинкой на щеке. Мамины телефонные разговоры с ней сложили у меня такой вот образ. Я чуть не заплакала, увидев ее впервые. Жанна оказалась похожей на грустную курицу — маленькая головка, кругленькое туловище и короткие тонкие ножки.

«Почему ей так не везет в любви?» — спросила я у мамы то ли в шестом, то ли в седьмом классе.

Мама вздрогнула, как от удара.

«Ты соображаешь, о чем спрашиваешь?»

Я уже потом сообразила. Действительно, нашла с кем поговорить о любви. Вот так осадят один раз, другой, а потом ждут откровений. И еще обижаются: вроде бы переходный возраст кончился, а все такая же грубиянка, как и была. Грубая, неблагодарная и ленивая. Больше всего маму угнетает моя лень. «Трудовые подвиги» в квартире Григорьева не в счет. Это не признак моего трудолюбия, а все та же неблагодарность, подлый выпад против своей семьи. А вот мама трудолюбива, не теряет времени даром. Разговаривая с Жанной, прижимает плечом телефонную трубку. Руки в работе, она вяжет. То свитер отцу, то мне голубое, из козьего пуха, платье. Платье эпохальное, вяжется уже три года. Вяжется и на ходу перевязывается, так быстро я из него вырастаю.

«Она оформляется, — говорит мама, — скоро будет совсем взрослой. А ум детский, жизненных навыков никаких».

«Когда-нибудь она наденет это платье, — отвечает папа, — и выяснится, что оно ее очень молодит».

Маму такой юмор озадачивает.

«Ты хочешь сказать, что я закончу платье, когда она будет старой?»

Именно это он и сказал. Но папа не так прост, чтобы дать ей шанс на него обидеться.

«Видишь ли, — объясняет он, — так уж устроена жизнь: сначала молодость, потом старость. Я, например, считаю, что старость награда. Чем старее человек, тем больше у него заслуг перед жизнью».

Они всегда разговаривают поверх моей головы, но это совсем не значит, что у меня нет в их диалоге слова.

«Одним награда, другим наказание, — говорю, — я вот не возьмусь утверждать, что Григорьеву старость дана в награду».

«У нее «Григорьев» каждое второе слово, — заявляет мама, — а он не такой уж старый. Просто износился. Привык срывать цветы удовольствия, а это наказуемо».

«Цветы удовольствия» вызывают у меня приступ смеха.

«Что тебя развеселило?» — мама смотрит на меня с обидой. Уж если человек у нее на подозрении, то и смех его подозрителен.

«Сказала бы по-простому — изменял жене, а то какие-то цветы удовольствия. Ты же не дамочка в фетровой шляпке...» — я никак не могу справиться с напавшим на меня смехом.

«Дай ей воды, — говорит отцу мама, — с ней что-то творится».

Ничего со мной не творится. Просто каждый человек хочет быть человеком, а ему не дают. В школе учителя, дома родители. Но самые жестокие тираны — это одноклассники. Кто гений, кто

придурок, кто красавица, кто божья коровка — все это раз и навсегда припечатано, не смоешь, не отдерешь. И никого не смущает, что придурок поумней гения, а у красавицы лик надменной козы. Что припечатали — с тем и живи. У меня тавро чокнутой. Не такой чтоб уж поврежденной в уме, но с прибабахом, от которой не знаешь чего когда ждать. Шушукаются перед праздниками, бросают на меня испытующие взгляды. Решают: звать — не звать. С одной стороны, я могу их повеселить, если вечеринка не заладится, а с другой — могу и порушить весельe, разозлить. Все-таки зовут. Как правило, это чей-нибудь богатый дом. Большой стол посреди комнаты, красивая посуда. Родителей нет. На столе салаты, всякие закуски, бутылка шампанского. Бутылки с более крепкими напитками в прихожей. Это такой ритуал: манерно пригублять за столом и назюзюкиваться по темным углам. Пьют, танцуют, потом расползаются по квартире: интеллектуалы на кухне, влюбленных утягивает на лестничную площадку. Там они стоят, целуются и простужаются на сквозняках. Две-три хозяйственные девицы моют посуду, накрывают стол для чая. Я перебираюсь в кресло, раскрываю какую-нибудь книгу. Ко мне такой привыкли. Только иногда гость со стороны давал совет: «Не надо так явно всех презирать». Не думаю, что их презирала, просто вся эта праздничная суета скользила мимо меня до поры до времени. Минувшей весной в Первомайский праздник я уже не сидела в кресле с книжкой. Появился у нас в классе во второй четверти новенький. Симпатичный, молчаливый, какой-то весь отсутствую-

щий. У девчонок к нему интерес быстро пропал, а я влюбилась. Мне именно его замкнутость и отрешенность от нашей визгливой школьной жизни нравились. И вот застолье. Тосты иссякли, танцы поднадоели. Интеллектуалы — на кухне, влюбленные — на лестничной площадке. А мы с ним — на балконе. Ночь, почки на деревьях только-только лопнули и пахнут, как цветы. Мы стоим высоко над землей, обнявшись, и такое чувство, что на этой высоте мы давным-давно, на ней родились, на ней и умрем. Кто-то за спиной, в комнате, закричал: «Девочки! Конец света! Ларка целуется!» Мы даже не оглянулись. Потом, на рассвете, он провожал меня. В этот же день в шесть часов в скверике напротив школы должно было состояться наше первое свидание. Я не пришла. Ветер на балконе оказался коварней сквозняков на лестничной площадке. Температура взлетела под сорок, вызвали врача. До сих пор не могу понять, почему я не подошла потом к нему, ничего не объяснила. Он не глядел в мою сторону, а я — в его. Потом — летние каникулы. А сейчас, будто ничего на том балконе у нас и не было. Мы не глядим друг на друга, а когда случайно сталкиваемся взглядами, то хмурим лбы и отворачиваемся.

Григорьев звонит мне только в одном случае, когда к нему приходит его дочь. Она мало кому известная актриса, давно уже немолодая, тощая и злая. Мне она однажды сказала:

«Уж если ты взялась наводить здесь порядок, то убирай как следует».

Я опешила:

«Вы в своем уме? Это вам надо взяться, вы его дочь, а я всего-навсего соседка».

Но она и впредь никакой уборкой себя не утомляла: вывалит на стол продукты, доведет отца до сердечного приступа и скроется с глаз на неопределенное время. Григорьев звонит мне:

«Элен, опять была эта Гидра, зайди».

Я прихожу, он благоухает валидолом, тычет пальцем в пакеты с едой:

«Ты не считаешь, что все это я должен отправить в мусоропровод?»

Я этого не считаю. Да к тому же считай, не считай, а голод не тетка. Григорьев и сам преисполнен интересом к пакетам, но побитое самолюбие сильней его. Я берусь за пакеты сама. Ого! Красивая банка растворимого кофе, крекеры, соленые орешки, закатанная в целлофан импортная ветчина. Царское подношение. Но когти на этой дающей руке такие, что бедный Григорьев растерзан вконец и действительно не знает, как ему быть.

«Знаешь, что она мне сказала? Что весь мир задолжал мне, и я сижу и жду той минуты, когда по моему приказу начнут всем рубить головы».

Я знаю, что в ссоре можно сказать и не такое. К тому же я знаю, что Гидра не от богатства, не от избытка в своем холодильнике притащила эти высококачественные дары. Помирить их я не могу, но смягчить Григорьева пытаюсь.

«Все взрослые дети, — говорю, — сплошное разочарование родителей. А вся разница между родителями в том, что одни ругают своих детей, а другие помалкивают».

Григорьев успокаивается: «Ты возвращаешь

мою душу на место», показывает мне подбородком, чтобы я поставила чайник, пытается открыть банку кофе. Я ставлю чайник, забираю у него банку и оглядываюсь по сторонам. Кухню уберу сегодня. Успею и белье прокрутить в стиральной машине. Но вот кто его вымоет? Он такой ветхий и растренированный, что в ванне или под душем вполне может ошпариться или потерять сознание.

«А что же ваш сын, — спрашиваю, — почему он не возникает?»

«У сына жена, дети. Когда у него случаются лишние деньги, он присылает».

Ему живой человек нужен, а потом уже деньги и эти банки с кофе. Я бы женила его на какой-нибудь хозяйственной веселой особе. Она бы навела здесь порядок и посмеивалась бы над его чудачествами — та-а-кой драматург. Кандидатура у меня одна — Жанна, но она не подходит. Во-первых, у нее хорошая квартира, с бытом она не намыкалась, во-вторых — там, где у людей в голове извилина, ведающая юмором, у нее слепое пятно. Жанне нужны романы, свидания, а нам с Григорьевым нужен нормальный человек для семейной жизни.

«Может, вам жениться, — говорю, наливая в чашечки кофе и открывая пакетик с солеными орешками, — вы не очень приспособлены к одинокой жизни. Вам нужен друг, хозяйка».

Григорьев зыркает на меня хмурым глазом. Мои слова ему не нравятся.

«Не списывай меня с корабля, — говорит, — я еще живой. Куда-то плыву, а вот куда — понятия не имею. Вокруг море без берегов. А раньше были берега, не очень добрые и понятные, но были... А

берег должен быть, потому что тогда у человека бывает выбор. Может плыть к нему, а может барахтаться в волнах и никуда не стремиться».

Я не очень понимаю, о чем он, но не перебиваю.

«Ты наверняка не задумывалась, почему люди курят, верней, почему начинают курить. Это их прорыв к свободе. Вредно, губительно, опасно. И начать-то не очень просто: отвратительный вкус, мутит. Я курю с одиннадцати лет и лучше других это знаю. Никто из домашних не курил, все были переполнены заботой, чтобы я когда-нибудь не вляпался в эту вредную привычку. Нельзя, нельзя. Ах, всем нельзя, так мне можно!»

Я пытаюсь вклиниться в его монолог:

«Как говорят юмористы: если нельзя, но очень хочется, то можно».

«Какое «очень хочется» в одиннадцать лет? Тут какая-то другая сила толкает человека ломать запреты».

Слушать его можно до вечера, а дело не делается. Меня убивает безграничность домашней работы. Вот уж действительно море без берегов. Стирай, убирай, вари и опять все сначала. Тут нужен вечный двигатель, а не жалкие приспособления в виде пылесосов и стиральных машин. Эта техника тоже не хуже метлы и корыта мочалит человека. Подлость все-таки обозвать все это тихими мирными словами «домашняя работа» и всучить ее женщинам.

Конечно, я злюсь. Без злости и не бросишься в эту пучину. Наливаю в кастрюли горячую воду, чтобы они отмокли. В одной у него сгорела кар-

тошка, в другой тоже что-то варилось до окаменелости. Григорьев сопереживает:

«Дай мне полотенце, — говорит, — я буду тебе помогать».

Собрался вытирать посуду. Еще не всю перебил.

«Нечего примазываться к чужим подвигам, — отвечаю, — лучше расскажите, как вы стали драматургом, что вас вывело на эту дорогу».

«Знаешь, где у меня эти вопросы? Из ушей торчат. «Расскажите, как начинался ваш творческий путь, над чем сейчас работаете?» Одна читательница спросила: «Если не секрет, сколько раз вы влюблялись?»

«И что вы ей ответили?»

«Ответил, что секрет, государственная тайна. Не хватало еще на людях, в библиотеке, исповедоваться. А вот ты мне один на один скажи, почему ты ни в кого не влюблена?»

Стиральная машина гудит, как заводская труба, но это еще ничего. Хуже, когда она вдруг начинает дергаться и прыгать. Что с ней происходит, выше моего понимания. Школьная физика всю эту бытовую технику в гробу видела. Я вытаскиваю вилку из розетки, машина успокаивается, говорю Григорьеву:

«Очень даже влюблена. Но сейчас не лучший момент говорить об этом», — включаю машину и с напряжением жду, когда она опять начнет выкидывать свои колена.

«Как его зовут?»

«Лелик».

«Это такое имя?»

«Вообще-то он Леопольд, но пока еще Лелик».

«Пока! Он будет Леликом еще лет двадцать».

Я в ванной, Григорьев в коридоре, машина гудит, и разговор наш сплошной крик, как у заблудившихся в лесу.

«Так и будет Леликом еще лет двадцать, — повторяет Григорьев, не дождавшись моего вопроса, — потому что Леопольд без отчества звучит нелепо».

Я выключаю машину: теперь пополоскать, отжать, развесить.

Звонит мама.

«Ты поселилась там?»

«Мама, не усложняй, все в порядке».

«Я сейчас приду туда и выскажу ему все, что думаю».

«Выскажешь мне, я скоро буду».

Я возвращаюсь вовремя: мамино возмущение перегорело. К тому же у нас в гостях Жанна. Отец мается с ними: Жанна парализует его своими любовными несчастьями. Они уже выпили бутылку вина, веселья оно им не прибавило, сидят за столом и ругают молодежь под аккомпанемент орущего телевизора. Я не вслушиваюсь. Мой воскресный день чересчур насыщен, мне бы куда-нибудь скрыться от них. Даже самые близкие люди понятия не имеют, как иногда их бывает много. Но скрыться некуда.

На экране — конкурс красоты. Длинноногие девушки, не очень красивые, но старательно изображающие какую-то неземную женственность, вышагивают по сцене. Жанна возмущается:

«Нет, вы мне объясните, что это должно озна-

чать? Что это вообще такое — пустоглазые лица с приклеенными улыбками?»

Странно. Мне казалось, что Жанна все это должна одобрять.

«Они красавицы, — говорю, — носительницы той самой красоты, которая спасет мир».

«Глупости, — сердится мама, — Достоевский совсем другое имел в виду. Эта красота никого не спасет, а только сама себя погубит».

«Вот именно, — воинственно соглашается Жанна, — пусть сначала откроют публичные дома, а потом устраивают эти конкурсы. Вот ты, Лариса, ты из нас ближе всех к этим девкам, что ты о них думаешь?»

Я думаю, что девочки рвутся в иной, более радостный мир. Если нет никаких талантов, а есть молодость, длинные ноги и милое личико, почему бы все это не пустить в дело. Станут манекенщицами, моделями, будут зарабатывать валюту, увидят разные страны. Хотя быть манекеном — от такой карьеры свихнуться можно. Это не для живых людей.

«Мы такими не были, — не может успокоиться Жанна, — мы влюблялись, разбивались, нас бросали, обманывали, но такими полуголыми перед миллионами нас не выставляли. Я бы умерла, если бы меня оскорбили таким предложением».

Это очень смешно: Жанна в купальнике, на своих куриных ножках среди участниц конкурса красоты. Папа, наверное, про себя посмеивается,

но, как мудрый мужчина, слушает и помалкивает. Молчание его не спасает.

«А он глазеет, — говорит мама, — ему это нравится. Мир, возможно, красота не спасет, но удовольствие многим мужчинам доставит».

Папа поднимается со своего места.

«Сначала Чехова терзали — выдавим из себя раба. Теперь за Достоевского взялись: красота спасет мир. Скучно, девушки».

Он презирает нас и правильно делает. Миротворцы тоже нуждаются в передышке. Он перебирается на кухню, я иду за ним.

«Ну что твой подопечный, — спрашивает он, — пишет новую пьесу или тоже ругает молодежь?»

«Вспоминает детство. Представляешь, в одиннадцать лет начал курить».

«Такое ужасное было детство?»

«Наоборот, его любили, воспитывали: это нельзя, то нельзя. А он через это нельзя: ах, так — значит, я буду. Протест у него такой был, тяга к свободе».

Папе это не нравится.

«Попозже бы начал курить, — говорит он, — подольше был бы здоровым».

Он не воспитывает меня, он действительно верит: то, что нельзя, то нельзя. Он любит меня, и все же в его глазах я не совсем человек. Сказать мне что-то такое, свое, он не может, и я у него спросить о чем-то таком, что меня тревожит, не могу. А надо. Мне очень нужен его совет. Но я даже Григорьеву не смогла рассказать о прошлом Первомае, балконе и не состоявшемся свидании.

А папе... кто это из дочерей рассказывает отцам о своих любовных терзаниях?

Да ругайте молодежь, если вам это нравится. Она и такая и сякая — ленивая, неблагодарная, бесстыжая. Откуда вам знать, что никакой молодежи нет. Есть мальчики, девочки, умные, глупые, красивые и не очень. Они все чего-то ждут, какой-то награды за свою молодость. И каждый ощущает только себя, хотя потом будут вспоминать о каком-то единении, дружбе. «Вот мы умели любить и дружить, не то что эти, сегодняшние». А я буду говорить правду: ничего мы не умели — ни любить, ни дружить, ни поссориться по-человечески, ни помириться.

Я бы к нему не подошла в тот день, если бы не платье. Голубое, пушистое, наконец-то довязанное. Из-за него и опоздала на первый урок. И Лелик где-то задержался. Стоял у окна в коридоре напротив классной двери. Увидел меня и отвел глаза. Я сказала себе: поспокойней, без паники. Приблизилась к нему и швырнула сумку на подоконник. Тут уж ему некуда было деться. Взглянул на меня и отодвинулся. Ну что ж. Мог ведь и уйти.

«Я не смогла тогда прийти, заболела», — сказала я четко и угрюмо. Платье руководило мною. В таком платье не юлят, не заискивают.

Он стоял столбом и молчал.

«Заболела, — повторила я, — температура под сорок, врача вызывали».

«Ты была при смерти?»

Повернул ко мне лицо с поднятыми бровями, изобразил удивление. Глаза прозрачные, с большими зрачками, как у рыбы. Кто это выдумал, что он красивый?

«Должна тебя огорчить: нет, смерть надо мной не витала. Простудилась. Видимо, тот балкон сыграл со мной злую шутку».

Я была довольна собой, держалась стойко.

«Балкон виноват?»

«Никто не виноват. Так получилось».

«Ты права. Никто не виноват».

Достал пачку сигарет и закурил. Я обомлела. В школьном коридоре, под дверями класса!

«Не надо, Лелик. Зачем так рисковать?»

«Ты опять права».

Поправил на плече ремень своей сумки и пошел от меня. Дым потянулся за ним ломаными, тающими ниточками. Я бросилась вдогонку.

«Постой! Так нельзя. Давай договорим».

Он остановился.

«Договаривай».

И я, забыв о своих девичьих достоинствах, стала унижаться:

«Давай помиримся. Это же глупо, мы даже не здороваемся. Если я виновата, прости меня».

Я тонула, погибала, а он даже взглядом мне не посочувствовал. Надо было как-то закруглять это унижение.

«Видишь платье? — спросила я, — моя мама вязала его три года. Если бы я в нем была на балконе, то не простудилась бы. А ты был в куртке, утеплился, не заболел. Ты такой. Это рядом с тобой будут простужаться, болеть и умирать, а ты застегнешься на все пуговички и будешь злорадствовать, как греческий сфинкс».

Мы были одни в коридоре, он вполне мог меня стукнуть. Но он до того оторопел от моей тирады,

что даже брови свои забыл приподнять. Прошипел в недоумении: «Ты действительно чокнутая» — и пошел от меня обратно к классной двери. А я устремилась к выходу. Не будь это мой последний учебный год, я бы ушла отсюда навсегда, перевелась бы в другую школу.

А чего я от него ждала? Признаний, объятий? Своего ума нет, так училась бы на чужих ошибках. Той же Татьяны Лариной. «Я вам пишу, Лелик, чего же боле...» Нет уж, Элен-Лариса, чего нельзя, того нельзя. Никто тебя не обижал, не бросал. Чтобы бросить человека, его до этого высоко вверх поднять надо.

Я шла домой, проклиная себя. Потом немного успокоилась, стала думать о Григорьеве и Лелике. Наверное, пьесы рождаются из каких-то правдивых, простых разговоров. Я ведь могла сказать Лелику: «Очень нужна твоя помощь. Надо помочь человеку, знаменитому, старому и одинокому». А он бы мне ответил: «Знаменитых и одиноких не бывает». И я бы рассказала ему о Григорьеве, о том, что надо взять мочалку и вымыть та-а-кого драматурга, как ребенка. Лелик бы очень смутился: «Я этого не умею». «А тут уметь нечего, надо только взяться». И так, слово за словом мы бы поговорили с ним, как люди, мирно и по существу. Но мне нужно было другое: я унижалась ведь не от раскаяния, меня мучило любопытство, почему он отдалился, не замечает меня.

Я почти простила Лелика, поднялась на свой этаж и, не глянув на свою дверь, позвонила Григорьеву. Он всегда открывал не сразу, но тут меня охватила какая-то уверенность, что дверь мне

никто не откроет. Звонила, звонила, потом бросилась мимо лифта по лестнице вниз. Решила позвонить по телефону, из автомата. Могла бы из своей квартиры, родители на работе, но меня тащило на улицу. Паника превратила меня в пушинку. Я летела по двору, одуревшая от страха: скорей, скорей, он лежит там без сознания, его еще можно спасти! Дверь телефонной будки примерзла и не открывалась, я огляделась вокруг — может, кто-нибудь сможет помочь — и тут увидела его.

Он сидел на скамейке прямо напротив меня, нахохлившийся и скучный, как зимний воробей. Силы покинули меня, я подошла к нему на ватных ногах.

«На дворе декабрь, а он сидит на холодной скамейке и зарабатывает себе воспаление легких».

Григорьев улыбнулся и поднял руку, приветствуя меня.

«Что это ты обо мне в третьем лице? Надо говорить: вы сидите, ты сидишь. Хочешь перейдем на «ты»?

Он легко поднялся, потопал ногами и пошел, кивнув, чтобы я следовала за ним. По дороге он что-то бурчал себе под нос, потом остановился, повернулся ко мне.

«Я говорю: все должно происходить в свое время. В твои годы надо сбегать с уроков на свидание или с подружками в кино. А ты прибежала ко мне. Тебе кажется, что я при последнем издыхании, меня надо спасать. Ты боишься, что я испущу дух без свидетелей?»

Он еще что-то молол про благородство, которым каждый хотел бы украситься, об энергичных,

деловых людях, которые обгоняют время, — никаких новых людей нет, в каждом веке кто-то летит в ракете, а кто-то тащится на телеге. И вообще — человек величина постоянная, каким родился, таким и проживет свою жизнь. Я бы дослушала этот монолог до конца, если бы мы не стояли на узкой дорожке и не мешали бы идущим людям. Кто-то протискивался, толкая нас, а кто-то обходил. Те, кто обходили, прокладывали в снегу новую дугу-дорожку.

«Мы перекрыли движение», — сказала я.

«Да-да, — подхватил он, — смотри, это не просто новая тропка, это замечательные следы деликатных людей».

Дома, когда он снял пальто, я увидела на нем выстиранную рубашку, неглаженую, со скрученным воротником. Волосы на его голове торчали пушистыми перьями. То, о чем я так пеклась, свершилось. Он самостоятельно вымылся и остался жив.

«С легким паром. Это была ванна или душ?»

«Это было то, что было. Не все в жизни надо обкладывать словами».

У него и раньше не всегда концы сходились с концами. Уж кто обкладывал словами чистоту, ратовал за государственную санитарию, так это он сам. Мы располагаемся на кухне, едим холодную картошку с тонкими ломтиками ветчины. Приканчиваем роскошные дары Гидры. Импортная ветчина красивая, но вкус у нее, как у переваренной репы. Я говорю об этом Григорьеву, и он со мной согласен.

«Ваша Гидра могла бы это знать и тратить деньги более осмысленно. Она вообще у вас странная. Обвиняет вас, а сама, наверное, думает, что это

ей мир задолжал и неплохо бы своим врагам поотрубать головы».

Ну что я такого сказала? Всего лишь повторила то, о чем он мне сам говорил. Чего же он так задышал? Чего затрубил, как разгневанный слон?

«Не смей! Никогда больше не смей называть ее Гидрой! Она прекрасный несчастливый человек! Она глупа, но умней многих!»

Запутал вконец. Сам ругает ее, жалуется, я его успокаиваю: «Все взрослые дети — сплошное разочарование», а в итоге я и виновата. Вот уж точно: добрые дела наказуемы. Он спохватывается, идет к плите, наливает чай. Чашка с блюдцем бренчат в его руке, когда он движется ко мне. Говорит уже своим обычным голосом:

«Чужих детей нельзя ругать в присутствии родителей. Вообще никого нельзя ругать за глаза, а в глаза тем более».

Воспитатель. Изрекатель житейских истин. Пустынник в богатой запущенной квартире.

«Знаешь, о чем я вчера подумал? У тебя же есть паспорт. Это бы помогло нам решить кое-какие проблемы».

Я не злопамятная, но вот так, мгновенно, выключаться из обиды не могу. Я же не приходящая домработница, я с ним дружу, даже если он этого не понимает.

«Молчишь? Обиделась? Только не научись молчать по-настоящему. Самые ужасные существа на этом свете — молчащие женщины. К счастью, не все из них догадываются, какое это убийственное оружие — молчание».

Хватит ему поучать. Дружба не измеряется возрастом. У меня действительно уже скоро год

как есть паспорт и вообще, как говорится, стою на пороге самостоятельной жизни. Молчать я не собираюсь.

«Вам лучше знать, — говорю, — какие бывают женщины. Говорят, у вас было большое количество романов».

Григорьев поскучнел, не ждал такого поворота.

«Где говорят? На базаре? И что прикажешь понимать под большим количеством — невеликое качество? — Он не смотрит на меня, это мамин взгляд поверх моей головы, и говорит без всякого энтузиазма: — У меня не было романов, у меня были пьесы о любви и бессмертии. Если собрать все эти пьесы и сосчитать, а потом поделить на прожитые годы, то от всего большого количества останутся крохи. Можешь спросить меня: почему? И я тебе отвечу: потому что жизнь не только большая, но и длинная».

Нет, не буду я ему рассказывать о встрече с Леликом. Напрасно спросила и про его романы. Не все в жизни надо обкладывать словами. Надо уметь оставлять за собой дуги-дорожки. И еще не надо завладевать чужой душой, когда спасаешь. А то мечешься, не знаешь, как помочь, а он сам намылил мочалку, сам преспокойненько вымылся.

«Я тут осмотрел свое хозяйство, — говорит он, — кое-что можно отнести в комиссионку. Купим хорошей еды да и курить надоело черт знает что. Как ты на это смотришь?»

Вот для чего ему понадобился мой паспорт.

«Я смотрю на это спокойно, — отвечаю, — можно отнести, продать, если кто-нибудь купит».

Он покидает кухню и возвращается с ворохом какой-то чепухи. Какие-то вазочки, коробочки,

сувенирные пожухлые безделушки. Вываливает все это на стол и смотрит на меня, как двоечник на учительницу: я, как всегда, ничего не знаю, но что тебе стоит поставить мне тройку?

«Несите обратно, — говорю, — это несерьезно. Люди сейчас покупают драгоценности или полезные вещи, без которых не обойтись».

«У меня есть драгоценность, — восклицает он, — я ее тебе сейчас покажу».

Приносит золотые часы, старинные, карманные, с массивной золотой цепью. Это товар. Но я их в комиссионку не понесу. Никто там не поверит, что это мои часы.

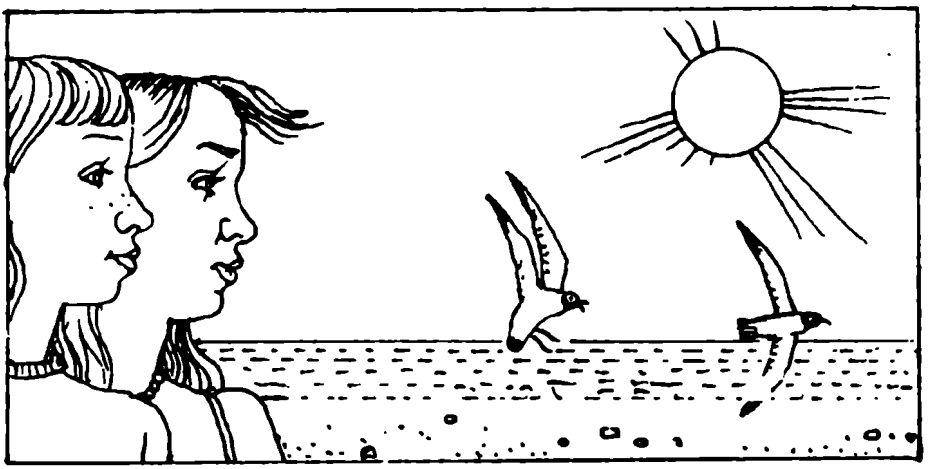
«Не жалко, — спрашиваю, — наверное, семейная реликвия?»

«Меня пожалей, я тоже уже хорошая реликвия».

Мне его жаль и себя немножко. И маму жалко: вязала, вязала платье, а оно оказалось несчастливым. Жуткий все-таки тип этот Лелик. «Ты действительно чокнутая». Как будто не чокнутая смогла бы влюбиться в такого истукана.

Григорьев кладет часы себе на голову, цепь свисает до плеча. Сидит, боясь пошевелиться, и смотрит на меня, как филин, выцветшими глазами. Потом поднимает плечи, втягивает в них голову и, не меняя позы, говорит:

«Иди домой. Уже закончились твои уроки. Иди, иди. Потом расскажешь, что там сегодня у тебя случилось».



СТАРШАЯ СЕСТРА

— Таня, — говорю я, — купи билет игрового лото. Я тебе зачеркну шесть цифр, и ты выиграешь пятьдесят тысяч.

— Это не так просто.

— Это почти невозможно. Но ведь кто-то выигрывает. Купи, у меня легкая рука.

— Видишь ли... — Таня останавливается, смотрит на меня пристально серыми глазами, на левой щеке возникает ямочка — это она улыбается углом рта, — видишь ли, пятьдесят тысяч мне не нужны. Пятьдесят тысяч ничего не изменят в моей жизни.

— Ты что? — Теперь я гляжу на нее такими же серыми глазами и тоже кривлю рот так, что на щеке образуется ямка. Мы сестры и очень похожи. Только Таня красивая, а я ее далекое подобие. — Ты что? Будут пятьдесят тысяч — купишь, что захочешь, и сразу станет тебе легко и весело.

Таня вздыхает, берет меня под руку, и мы идем дальше.

— Хорошо, что ты приехала, — говорит она, — я и не думала, что это будет так хорошо.

Мы шагаем по ровному и твердому, как асфальт, берегу Финского залива. Под ногами песок: до того он утрамбован, что не остается на нем следов. Чайки качаются у берега, такие белые маленькие уточки.

— Таня, — говорю я, — посмотри, какие чайки. А полетят — и будут совсем другими.

— Я тебя понимаю, — отвечает Таня, — я тоже в первые дни так на все смотрела.

— А теперь?

— И теперь смотрю. Только теперь иначе. Теперь это все мое. На всю жизнь. Теперь я каждый отпуск буду сюда приезжать.

Мы надолго замолкаем. Потом я набираюсь храбрости и спрашиваю:

— Ты уже не думаешь о нем?

— Думаю. Но здесь легко обо всем думать. Не болит сердце.

— А очень болело?

— Как будто в него воткнули нож.

Никогда Таня не говорила со мной как с равной. А теперь я задаю вопросы, и она отвечает. Таня держит меня под руку, мы с ней одного роста. Встречные парни поглядывают на нас зорко и одобрительно. Наверное, думают, что мы подруги: одна очень красивая, зато вторая очень молодая.

Курортный сезон закончился — октябрь месяц. Я плачу хозяйке четверть цены за большую

комнату, в которой четыре кровати. Летом у меня было бы три соседки, а сейчас я живу одна в большой комнате. Таня живет в пансионате. У нее отпуск, а я прихожу в себя после провала на экзаменах в художественное училище.

— Почему ты сказала, что тебе не нужны пятьдесят тысяч? Это так прекрасно, когда можешь купить все, что хочешь.

— Это радость на пять минут. И к тому же купить все, что хочется, невозможно. Человеческие потребности — бездонный колодец.

— Ты очень умная, Таня. А я?

— Ты пока никакая. Тебе просто пятнадцать лет.

Мы заходим в маленькое кафе. Заказываем кофе и бутерброд с ветчиной. Я ем, а Таня сидит и смотрит на меня. Она завтракает в пансионате, в кафе ей делать нечего, и она поучает меня:

— Ешь с хлебом. И сними локти со стола. И жуй. Не глотай, как собака.

Мы никуда не опаздываем.

Это уже совсем другой голос. Я знаю его с детства. Голос старшей сестры, который никогда не дрогнет ни от улыбки, ни от нежности.

— Только что мы шли и говорили с тобой как люди. А теперь ты опять загудела, как дома. Возьми себе кофе, отвлекись, а то мне ничто в горло не лезет.

Я выпаливаю эти слова и гляжу ей прямо в глаза. Таня хлопает ресницами, будто надеется, проморгавшись, увидеть не меня, а кого-то другого, потом поднимается, идет к стойке и приносит кофе.

— Не сердись, — говорит она, разглядывая

маленькую керамическую чашечку, в которой кофе мерцает, как черный с радужной поволокой глаз, — очень трудно перестроиться. Я привыкла, что ты младшая сестра. Это уже у меня в крови.

— Это условный рефлекс. От него можно избавиться. Давай будем подругами.

— Давай, — соглашается Таня. — Давай попробуем. Только ты не особенно лезь мне в душу.

Я не лезу к ней в душу, наш разговор качается туда-сюда и никуда не плывет, как лодка, привязанная к берегу. Тане невмоготу со мной, у нее свои заботы. Мы заходим в аптеку, покупаем сердечные капли. Мне хочется развеселить ее:

— Помнишь, как ты меня, маленькую, посадила в ведро и поставила на комод?

— Помню. Хорошо, что ты не упала и не свернула себе шею.

Нет, никогда мы с ней не будем подругами. Как бы я ни старалась. Четырнадцать лет, которые нас разделяют, не перепрыгнешь.

Она уже была в восьмом классе, когда я родилась. Мы жили тогда в тайге, на стройке. Таня училась в интернате, в областном городе, потом переехала заканчивать десятый класс к маминой сестре Кате, в Москву. Увиделись мы с ней впервые, когда мне был год. Таня приехала на каникулы и объявила родителям, что теперь она никому не нужна — ни отчиму, ни матери, что, если бы был жив ее родной отец, все было бы по-другому. Мама очень плакала, отчим обещал, что скоро его переведут на работу в управление, и тогда Таня будет жить с нами, и всем будет хорошо. Но Таня отвечала, что хорошо уже никогда

не будет, потому что родилась я, и она теперь нужна им только как нянька.

До сих пор у моих родителей перед Таней чувство вины. Ее нет — и в доме шум, смех, папин бас: «Ларка (это мне), если ты еще будешь брать мои блокноты, я откручу тебе руки», или: «Георгий Иванович (это маме, она всегда сердится, когда папа называет ее этим мужским именем), если у тебя опять не хватит рубля до получки, я уйду из дома. Как Лев Толстой». Но приходит Таня, и все притихают. Таня живет на два дома: у тети Кати и у нас. Там у нее отдельная комната, а у нас — диван напротив моей кровати.

— Таня, — говорю я, когда мы уже в третий раз проходим мимо цветочного магазина на узкой чистенькой улице, — иди в свой санаторий. Мне что-то захотелось пожить собственной жизнью.

— А тебя не пугает эта жизнь?

— Нет. Мне есть чем заняться. Я вспоминаю Володьку. Мечтаю, как он влюбится в меня, как будет караулить за разными углами.

— А еще о чем ты мечтаешь?

— О чем придется. Иногда мечтаю стать красавицей, чтобы все оглядывались на меня и обмирали: кто от зависти, кто от восхищения.

— А в училище поступить ты не мечтаешь?

Это только с виду обыкновенный вопрос, а на самом деле это удар здоровенной палкой по голове. Два месяца назад я поступала в училище. Недобрала двух баллов.

— Нет, — отвечаю я, — об этом я не мечтаю. Об этом как-нибудь я просто подумаю. На этот

счет у меня разные мысли, и одна из них мне очень нравится.

— Странно, — говорит Таня, — странно ты заговорила. Не забывай только, что сюда тебя отправили отдохнуть и прийти в себя. Потом будешь мечтать только об училище.

— Ладно, Таня, иди в свой санаторий. Дружить мы будем в старости, когда мне будет шестьдесят, а тебе семьдесят четыре.

Мы расстаемся. Я гляжу ей вслед: идет, как кинозвезда. Разгневанная кинозвезда, которой нагрубила артисточка из массовки. Идет и источает свою красоту. А прохожим наплевать на эту красоту, у них свои мысли и мечты. Ну, посмотрят, так и на автобус они смотрят, и на кошку, что греется за стеклом окна. Я сердита на Таню и забываю, что у нее горе, что она несчастна. А когда спохватываюсь, ее уже не видно, и ничего нельзя поправить.

Янис ждет меня во дворе. Он стоит на дорожке, воротник пальто поднят и повязан красным шарфом. Еще в этом доме девочка Ванда. Она сейчас в школе, их третий класс учится во вторую смену. Отец у детей поляк, мать — латышка. Мать, моя хозяйка по имени Илга, уверяет, что маленький Янис любит меня. Я его первая любовь.

— Не слушайте эти мои слова со смехом, — говорит она, — но наш мальчик переживает любовь к вам. Он хочет уехать с вами. Он просит, чтобы я сказала вам это.

— Янис, — кричу я, — почему ты так закутан? Посмотри, какое солнце на небе, и ветер совсем не злой. — Я развязываю ему шарф, рассте-

гиваю пальто. — Знаешь, что могло бы случиться? Зима увидела бы тебя и сказала: «Ах, ах, я опаздываю. Надо поскорей остудить солнце, заморозить тучи, чтобы из них посыпался снег. А то бедному мальчику очень жарко в зимнем пальто». Я говорю с чуть заметным акцентом, все так говорят в этом доме, и я не могу от этого удержаться. Янис слушает, задрав голову, из глаз его летит ко мне чистый преданный свет. Очень славное лицо: беленькое, с ровными дужками бровей, и все реснички можно пересчитать.

Илга появляется на крыльце:

— Он одевается, чтобы сразу ехать с вами, чтобы вы не уехали, пока он будет одеваться. Вы должны сказать ему, Лариса, что будете жить у нас долго.

Янис опускает голову, слушает слова матери и, наверное, переживает, что она выдаст его тайну. Когда она уходит, он берет меня за руку и ведет к широкой скамейке, которая вросла в землю на задах летней кухни.

— А какая зима, когда ее нет?

Я понимаю его вопрос. Сажусь рядом с ним и рассказываю:

— Зима большая и красивая. У нее белая шуба и на голове высокая белая шапка. У нее холодные руки и красивое лицо. Она любит, чтобы кругом было аккуратно и чисто. И поэтому, когда она приходит, то посыпает землю белым и чистым снегом.

— Зима злая, — говорит Янис, — она кусает нос и руки. А кто ее не боится, того она кусает за голову, и человек начинает болеть. У него болит голова и горло.

Он много знает, этот маленький шестилетний мальчик. Он знает даже, что зима — просто время года, явление природы. Но ему хочется разговаривать со мной, и он, как все дети, прикидывается, что верит в сказки.

— Янис! Лариса! Идите обедать, — зовет Илга.

Это самый трудный момент. Я плачу только за койку. Объедать задаром эту хорошую семью, в которой зарабатывает деньги один человек — муж Илги, я не имею права. Но на столе уже стоит тарелка, предназначенная мне. Янис и Ванда ждут, когда я возьму в руку ложку.

— Я уже обедала, — говорю Илге.

Она улыбается:

— Нельзя два раза съесть один и тот же суп, но два разных — можно.

Она наливает суп из красной кастрюли, которая стоит посреди стола, снимает прозрачный колпак, которым накрыто блюдо с хлебом, и мы принимаемся за еду.

— Вы очень разные с вашей сестрой, — начинает разговор Илга, — с виду вы очень одинаковые, но характером очень отличаетесь.

— Мы похожи лицом на маму, — говорю я.

— У вас красивая мама, — делает вывод Илга, — а характер у нее похож на ваш или Танин?

— У нее совсем другой характер. У нее очень добрый и веселый характер. Но она немножко трусиха. Всего боится.

— Это у меня тоже немножко есть, — говорит Илга, — я ее понимаю.

Не знаю, почему, но с Илгой хочется говорить, ничего не скрывая. Ее расспросы не просто любопытство. Она живет в маленьком городке, с утра до вечера занята хозяйством, и ее расспросы — это как путешествие в другой город, к другим людям.

— А кем работает ваша мама?

— Она врач. Но она не лечит людей. Она санитарный врач.

— Я знаю, знаю, — кивает Илга, — на нашей улице тоже живет санитарный врач, такой старый и очень сердитый мужчина. Я вам его покажу.

Она задерживает свой взгляд на Ванде, которая заслушалась и не ест, сидит с открытым ртом.

— Дети должны слушать разговоры взрослых, — говорит мне Илга, — если они не будут слушать, то очень мало будут знать о жизни. Но при этом они не должны думать, что в этих разговорах у них есть слово. Они должны слушать и делать свое дело.

Ванда начинает есть, я вижу, что только ее уши участвуют в разговоре.

— Скажите, Лариса, а ваш папа отдает все деньги из получки маме?

— Наверное, отдает. Но я этого никогда не видела. У нас в доме говорят о деньгах только тогда, когда их нет.

Илга широко раскрывает глаза и смотрит на меня довольно долго застывшим взглядом. Потом хлопает ладонью по столу, как человек, который принял решение.

— Когда вы будете уезжать, Лариса, я научу

вас одному секрету. Вы передадите его маме, и у вас в доме всегда будут деньги.

И тут, нарушив заповедь, что в разговорах взрослых у детей нет слова, раздался глуховатый голос Яниса:

— Лариса... я с тобой поеду тоже?

У Ванды опять открылся рот, теперь уже в испуге. Илга поднимается и уносит кастрюлю на кухню, я смотрю через стол в напряженно-вопросительные глаза Яниса и отвечаю:

— Да, Янис.

Вечером приходит Таня.

— Пойдем к морю, — зовет она, — я что-то опять не нахожу себе места.

Мы бредем в сырой темноте мимо домов, в которых горит свет, выходим на центральную улочку и на секунду поражаемся ее тихой праздничности. В маленьких кафе горят разноцветные плафоны и посылают на улицу радужные цвета красок. Не спеша идут навстречу прохожие. Я уже отличаю приезжих от местных жителей. И по одежде, и по тому, что приезжие глядят на все вокруг изучающе. Местные жители не видят своего городка, не заглядывают в окна кафе, ведут на поводках смешных лохматых собачек или за руку в нарядных курточках детей.

— Таня, я не могу представить себе, что из-за человека, который тебя предал, можно так сильно страдать. Ты должна его возненавидеть.

— Не получается. — Таня тяжело вздыхает, и вдруг ее боль проникает в меня.

— Хочешь, я его убью? Или подойду и плюну ему в лицо. — Я на секунду представляю, как под-

хожу к бывшему Таниному мужу и плюю ему в лицо, и понимаю, что такого мне никогда не сделать. Смогу крикнуть, какой он гад и ничтожество, смогу ударить, а плюнуть — нет, это хуже, чем если бы плюнули в меня.

— Таня, хочешь я расскажу, как мне изменил Володька и что я сделала после этого?

— Не смеши меня своим Володькой.

Напрасно она так. Могла бы послушать. Я тогда классически отомстила.

В седьмом классе он прислал мне записку: «Ларка, у тебя, говорят, есть Брэдбери. Он мне очень нужен». Брэдбери. Я сразу поняла, что из этого Брэдбери может получиться. Красивый и высокомерный Володька был новеньким в нашем классе. И конечно, сразу многим девчонкам понравился. Они просто замерли: кого он из всех выделит. И вдруг я получаю записку. Не наши признанные красавицы, а я. Весь урок я корчилась, как бы ему ответить поумней да пошикарней. «Брэдбери? Неужели, дитя, ты еще до сих пор не читал Брэдбери?..» «У меня есть Брэдбери, но нельзя ли узнать, для какой цели он понадобился?» И вдруг я почувствовала, что нашла наконец слово. Написала его и отправила Володьке. Это был гениальный ответ: «Есть». Ты спрашиваешь: есть ли? Я отвечаю: есть. И без подписи. Надеюсь, не всем же девчонкам ты разослал подобные записки.

Мы стали, что называется, дружить. Как дружат старшеклассники, я теперь знаю. Ходят в кино, на дискотеку. Самые умные — еще в музеи. Самые неполноценные — в бар, там они после бо-

кала вина становятся более значительными в своих глазах. Мы с Володькой ездили за город. Каждое воскресенье. Ходили по лесу или вдоль реки. В другие дни он звонил мне вечером по телефону. Мама говорила подругам и соседкам: «Ларисе звонит ее поклонник. Они учатся вместе».

Володька не был поклонником. Он был дураком. Я каждый день ждала, что он скажет: «Я тебя люблю». А он не говорил. На новогоднем вечере танцевал два раза со мной, а потом с кем попало.

Вот тогда я сказала себе: «Ну, держись, Володечка, я тебе отомщу». И придумала. Он звонит: «Ларка, пошли на каток?» Я ему: «Ты что же раньше думал, я только что оттуда». Он мне: «Ну, как насчет воскресенья?» «Никак, — отвечаю, — ты что, забыл, как я мекала на английском? Буду весь день зубрить». А что такое? В любви не признается, танцует со всеми подряд, только одно название, что дружим. Если ты мог танцевать с кем угодно, то и езди в лес с кем угодно. Ах, тебе с ними скучно? Ну и скучай. Мне хуже чем скучно было, когда ты кружился вокруг елки не со мной.

Месть моя длилась недолго. Володька перестал смотреть в мою сторону, а потом и здороваться. Весь восьмой класс мы не разговаривали. Девчонки помирали от любопытства, что у нас произошло. А я и сама не знала что. Только вдруг почувствовала, что смертельно влюбляюсь в Володьку. Столкнемся случайно взглядами, а у меня прямо ужас какой-то в душе, так я его люблю. И стала его стесняться. Когда не прошла в училище,

первая мысль была: «Стыд какой, и Володька узнает».

— Таня, а может, он никогда тебя не любил? Ведь если была любовь, то куда она подевалась? Может, он просто хорошо к тебе относился, а потом ему это надоело, и он ушел?

— Он любил меня, — говорит Таня, — в этом все дело. Он так самозабвенно меня любил, что такой любви не могло хватить надолго.

— А ты?

— Что я?

— Ну, ты... как ты к нему относилась?

— Да что об этом говорить, — отвечает Таня. — Моя душа сейчас, как выжженный пожаром лес: все в ней сгорело, и все еще горячо и больно.

Мне жалко Таню, но я не могу себе представить, как тихий, аккуратненький Виктор Петрович смог выжечь Танину душу. Когда она говорит о своем горе, мне кажется, что это о другом человеке, с черными бровями, решительном и надменном. Это он ушел от красивой моей сестры. Виктор Петрович такого сделать не мог. Я помню, как мне, маме и папе было неловко поначалу сидеть с ним за столом. Он глядел на Таню так преданно, так влюбленно, что мне было смешно, маме удивительно, а папе стыдно. И еще у него была фраза: «Все, что хочешь». Таня говорила: «Пойдем в кино». «Давай купим новый чайник, а то Катин уже скоро развалится». «А что, если на субботу и воскресенье нам поехать в Суздаль?» Он отвечал: «Все, что хочешь, все, что хочешь». Это означало:

все, что ты говоришь, — единственно правильные слова, все, что хочешь ты, хочу и я.

И этот человек ушел. Забрал свои чемоданы. Оставил на столе записку: «Я все-таки ухожу. Крепись. Хотя жестоко давать совет человеку удержаться, когда сам дашь подножку...»

Мы расстаемся с Таней на середине пути, между санаторием и домом Илги. Ей идти по освещенной улице, а мне — темными переулками. Я боюсь темноты, но не говорю об этом, потому что, если скажу, Таня пойдет меня провожать.

— Каждый день Илга усаживает меня за стол, и я у них ем. Понимаешь, никак невозможно отказаться. Дай мне денег, я куплю ей что-нибудь.

— Купи ей чулки и духи «Черный нарцисс». Латышки любят эти духи, — говорит Таня и дает мне деньги.

— Почему так, — спрашиваю я у Илги, — когда я приехала сюда, то мне захотелось здесь жить вечно, а теперь, когда до отъезда осталось три дня, хочется скорей оказаться дома?

Илга слушает меня, ее узкое милое лицо, как всегда, спокойно и внимательно.

— Человек не живет единственной минутой и единственным днем, — отвечает она, и я вижу по морщинке на переносице, что она думает и отвечает не только мне, но и себе. — Человек живет будущим. Когда вы приехали сюда, было много дней впереди, и ваше будущее было здесь. А сейчас ваше будущее дома, в Москве. И вы уже живете там.

Она проводит ладонью по лбу, стирает мор-

щинку на переносице, и вдруг тень тревоги ложится на ее лицо.

— Лариса, вы имели неосторожность сказать Янису, что возьмете его с собой. Плохо, если вы ему объясните, что он не поедет с вами, в самый последний день.

— Да, Илга, я это сделаю сегодня. Простите меня, ради бога. Я тогда брякнула, совсем не подумав.

— Не надо ничего откладывать на последний день, — говорит Илга и приглашает меня к столу, приносит лист бумаги и карандаш, — самый последний день одного дела может оказаться первым днем совсем другого дела. И первое дело останется незаконченным.

— А надо все дела заканчивать?

— Конечно, — удивляясь, что я этого не знаю, говорит Илга. — Когда человек заканчивает свое дело, он знает, что это он так сделал, и у него не остается претензий. А если он бросил его, не закончил, то потом начинает обижаться на судьбу или на других людей.

Она берет карандаш и выводит на листке бумаги квадратики.

— Ваши родители получают на работе деньги два раза в месяц?

— Да.

— Тогда надо пятнадцать конвертов. Эти четырехугольники есть конверты.

Папа, мама и вы садитесь за стол, и кто-нибудь один пишет на бумаге, сколько есть денег и сколько есть расходов. Все надо подсчитать, сколько надо заплатить за квартиру, что надо купить —

туфли или, например, простыни. Что остается — нужно отнести на хозяйство. Делится это на пятнадцать частей, и каждая часть в отдельный конверт.

Так просто и так скучно. Я представляю папу, маму и себя за столом с конвертами и понимаю, что этого никогда не будет. А если они пойдут на такой эксперимент, то мама все-таки каким-нибудь образом забудет положить деньги в последние три конверта, и папа, как уже бывало, будет курить в эти дни «Дымок».

— Если делать так, — говорит Илга, — то происходит одно хорошее чудо. Каждый день в конверте что-то остается. И тогда конверт надо заклеить. И через месяц или через два — сколько соберется терпения — надо их разрезать и сделать на эти деньги что-нибудь без программы.

Она поднимается, выходит в другую комнату и возвращается с черной коробочкой. В коробочке кольца

— Этот красный, самый большой камень — рубин. Я бы никогда не смогла купить такое дорогое кольцо, если бы не конверты.

— Спасибо, Илга. Я обязательно научу своих жить. Они у меня поблистают в соболях и алмазах.

Илга смеется.

— Они будут вам благодарны.

Янис заглядывает в комнату. Ждет, когда закончится у нас разговор. Ждет меня. Я выхожу, и мы идем к морю. Ходим с ним по берегу. Здесь мелкое море, волны не бушуют, а спокойно и легко совершают свою непонятную работу: собирают кружевные воротники пены и сбрасывают

их на гладкий и сырой песок. Очень спокойные волны и очень спокойный берег.

Холодно. Янис в зимнем пальто. Концы красного шарфа колышутся на спине. Моя ладонь лежит на его голове, и я чувствую, как он боится двинуть плечами, идет, как ходячий посошок в моей руке.

Больше всего на свете мне не хочется сейчас встретить Таню. Я не могу понять, как она со своей выжженной, как лес после пожара, душой может ходить, разговаривать, смеяться с высоким мужчиной в свитере и замшевом пиджаке. Он красивый. Рядом с Таней он красив не сам по себе, он половинка красивой пары. Я увидела их впервые неделю назад. Шла вечером мимо освещенных окон ресторана и увидела их танцующими. Музыки не было слышно, зал был почти пуст, на «пятачке» возле оркестра танцевали Таня и этот в замшевом пиджаке. Первое, что пришло мне тогда в голову: «Где это Таня научилась так танцевать?» И уже спустя несколько минут: «Как она может танцевать с другим?» А еще позже: «Как она смеет?»

Назавтра я сказала ей:

— Я знаю, где ты была вчера. Я все видела. И я больше тебе не верю.

Таня не ужаснулась.

— У тебя категоричный возраст. С годами это пройдет. А пока не лезь не в свое дело, — сказала она.

Потом мы вроде бы помирились, но это был тот худой мир, который лучше доброй ссоры. Я еще два раза видела ее с этим типом в замшевом пиджаке и ждала, просто жаждала серьезного раз-

говора. Я к нему подготовилась: «Слушай, Таня, тебя очень любил Виктор Петрович. И ты не можешь понять, почему он ушел? А отгадка простая — ты не любила. Когда одна любовь на двоих — ее надо очень беречь. А ты ее тратила. Вот и не хватило рубля до получки».

До какой получки, я не знала, но мне нравилась моя речь, и особенно эта фраза: «Вот и не хватило рубля до получки». А потом я подумала: а виновата ли Таня, если на самом деле не любила Виктора Петровича? Вот я люблю Володьку, а ему до этого нет никакого дела. А Янис любит меня. Он маленький человек, но это совсем не значит, что и любовь у него маленькая. А я обманула его.

Кто же тогда прав и кто виноват? И как сделать так, чтобы не было виноватых?

— Янис, ты не передумал ехать со мной?

Он останавливается, поднимает голову и говорит:

— Ты поедешь с Танси. Таня купила два билета на поезд, — и глядит на меня своими ясными, беспощадными глазами.

— Я не подумала тогда, Янис, что это невозможно. Илга бы очень скучала, и папа, и Ванда. И ты бы скучал. Ведь ты же их любишь?

Янис молчит.

— Не молчи, Янис, ведь ты любишь их?

— Люблю, — отвечает он. — Но почему ты сказала «да, Янис»?

— Я забыла, что слово сказать легко, а дело сделать трудно. Я не знала, Янис, что дело можно сделать и не сделать, оно может родиться и умереть, а слово живет вечно.

Янис молчит, у него такой взгляд, будто он все

понимает. А молчит потому, что помнит: рядом со взрослыми у него нет слова. Илга молодец: когда у него будет право говорить, он не бросит свое слово на ветер.

— Ты приедешь к нам, когда будет еще одно лето?

Впервые у меня нет права сказать «да».

— Я буду мечтать об этом, Янис. Ты знаешь, что такое мечтать?

— Да. Это думать о том, чего нет.

— Я буду всю зиму готовиться в училище. И мечтать, как летом приеду сюда.

— А я, когда вырасту, буду лечить людей.

— Мне бы тоже хотелось лечить их. Но не от болезней, а от самих себя.

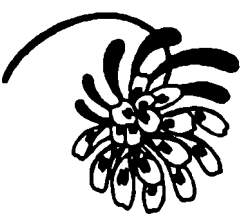
Чтобы человек, который сказал «да», обязательно сдержал свое слово. Чтобы каждый, кто полюбил, любил бы всю жизнь и был счастлив. И чтобы у каждого хватало денег до получки.

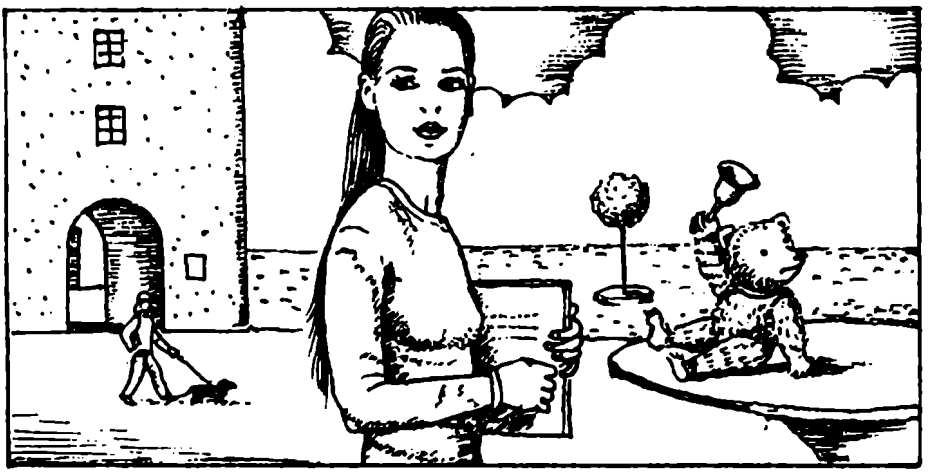
— Ты научишься, — говорит Янис, — не надо плакать.

Я вытираю ладонями глаза и щеки и обещаю Янису:

— Я научусь. Научилась же этому твоя мама.

Он поворачивается и уходит. Два крыла красного шарфа колышутся от ветра за его спиной. Идет не спеша, не оглядываясь, оставляя маленькие следы на мокром и чистом песке.





МАЛЕНЬКИЙ МЕДВЕДЬ С КОЛОКОЛЬЧИКОМ

— Оно сейчас ушло? — спрашиваю я девчонку с жесткой челкой на лбу.

Она смотрит на меня узкими глазами, облизывает побелевшие в трещинах губы и не понимает, о чем я спрашиваю. Мы незнакомы. И откуда ей знать, что я люблю вот так, ни с того ни с сего огреть человека вопросом.

— Я вас поздравляю, — шепчет она на всякий случай, — это такое счастье. Я даже не знаю, что мне сейчас делать.

— Надо дать домой телеграмму, — подсказываю я. — У тебя есть деньги на телеграмму?

— Да, да, — наконец кивает она, — у меня есть деньги. Они умрут от счастья.

Мои от счастья не умрут. Если я пошлю телеграмму, папа прочтет и скажет сам себе: «Она жива. Остальное со временем выяснится». Марья,

когда отец вручит ей телеграмму, будет ходить по квартире и искать очки. Потом будет по очереди искать то очки, то телеграмму. «Она сообщает, что поступила в институт», — не выдержит папа. Марья тут же охладеет к очкам и телеграмме и обиженно пожмет плачами. Она всегда обижается, когда что-нибудь значительное происходит не с ней, а с кем-нибудь другим, даже с ее родной племянницей.

Мы сидим с узкоглазой девчонкой в вестибюле института, и нет у нас сил подняться с мраморного выступа стены. Все ушли, а мы сидим, как приклеенные, и смотрим на доску с белыми листками. Там наши фамилии среди фамилий других счастливчиков. Если бы кто-нибудь догадался нас сфотографировать — это был бы снимок века. Так сказать, счастье в его чистом виде, материализованное в образах двух измочаленных надеждами и зубрежкой девиц.

— Оно сейчас ушло? — снова спрашиваю я свою подружку по счастью.

— Кто?

— Детство?

Она поднимает брови и молчит. Так молчат отличницы: все знают, но не надейся, что подскажут.

— Мне надо точно знать, ушло оно или не ушло. — Я смотрю на нее, как удав на кролика.

— Оно уйдет постепенно, — говорит она. — Мы этого не заметим.

Вот все и ясно. Толковая, обстоятельная девчонка. Не влетит на ходу в лужу, не назначит сви-

дание в пять часов утра. В сумочке — идеальный порядок: чистый носовой платок, кошелечек, записная книжка. Домой не поедет. Пошлет телеграмму: «Приняли. Здорова. Общежитие дали». Родители пришлют ей денежный перевод. Она все рассчитает, будет питаться только бутербродами, и на оставшиеся деньги будет ходить по музеям и театрам.

У меня дар угадывать и предсказывать. Всем девчонкам из нашего класса я предсказала будущую жизнь. Все радовались и хохотали, только Лиля Белкина обиделась. Ей я напророчила троих детей и лысого мужа. Лилька считает, что выходить замуж мещанство. Надо достигнуть чего-то великого в жизни, а потом, если проснутся материнские инстинкты, родить от любимого человека без всяких загсов, штампов и прочих предрассудков.

— А вдруг материнские инстинкты проснутся раньше, чем ты достигнешь чего-то великого? — спросила я.

Лилька фыркнула и вытаращила на меня свои ледяные с черными зрачками глаза. Было видно, как из них струилось презрение. Кто-то сочувственно пискнул:

— А как же ребенок без отца?!

Лилькин голос зазвенел от негодования:

— Какое отношение имеют отцы к детям? Кого из нас воспитал отец?

Я бы могла сказать: меня. Но Лилька так презрительно жрет глазами тех, кто перечит ей в споре, что лучше не связываться.

Эта девчонка, что сидит со мной на мраморном

выступе стены, выйдет замуж через десять лет. Закончит университет, аспирантуру, купит квартиру и выйдет замуж за какого-нибудь Вадика, с которым училась вместе с первого класса. Сейчас ни он, ни она этого не подозревают. Он тоже сейчас сидит где-нибудь, бледный и растерянный, переживает свое поступление в институт. Через десять лет они встретятся кандидатами наук, поженятся и будут всем говорить, что любят друг друга с первого класса. Люди будут смотреть на них как на сумасшедших, потому что у всех нормальных людей первая любовь — воспоминание.

Обо всех я все знаю, а о себе — ничего. Это значит, что со мной случится что-то невероятное. Оно уже началось, надо только не волноваться, взять себя в руки и спокойно, с достоинством выйти навстречу новой жизни.

— Я не поеду домой, — говорит девчонка, — это далеко и очень дорого. Я живу в Красноярске.

Мы расстаемся. Она идет по вестибюлю, худенькая, с черной косой на спине. Я почему-то пережидаю, когда за ней закроется огромная дверь, и тоже поднимаюсь. Вечером я сяду в поезд, утром буду дома. А потом снова вернусь сюда. Самый лучший город с парками, музеями, театрами, толпами иностранных туристов будет моим целых пять лет. Здесь произойдет то главное и удивительное, что должно произойти в моей жизни. Я гляжу на прохожих: увы, это произошло без вашего согласия. Это произошло вообще непостижимо каким образом. Восемнадцать человек на одно место. Тридцать медалистов. Внезапно меня пронизывает страх: совпадение! Это кого-то дру-

гого приняли с такой же фамилией. Нет. Сердце возвращается из невесомости на свое старое место. Гуляева Анна Прокопьевна. Милый мой Прокоп-Укроп! Ни у какой другой Анны нет такого отчества.

На Тверской три девчонки с обветренными лицами спрашивают, как пройти к ГУМу.

— Прямо, девочки, прямо и веселей.

Они улыбаются мне белоснежными зубами, крепкие такие, хорошие девочки: не сбила их с толку, не закружила столица: несут заработанные денежки в ГУМ, накупят обнов и себе, и родным.

На влюбленных я смотреть не могу. На влюбленных смотреть нельзя. Некоторые этого не понимают и глазеют: перед влюбленными надо опускать глаза и говорить про себя: «Ребята, пусть хоть у вас это будет всю жизнь». А на тех, кто ходит в обнимку, целуется на ходу, смотреть можно. Эти выпили в кафе и выкатились на улицу. Им можно смотреть в глаза: «Ну, и как в царстве приматов?»

Мчатся машины. У входа в супермаркет маленький водоворот: входят, выходят. Меня затягивает. Покупаю банку маслин, кладу в сумку и прямо у прилавка начинаю плакать. Плачу и двигаюсь плечом вперед, к выходу. «Это разрядка, — объясняю себе на улице. — Это нервы. Весь мир должен расступиться в такой день, а они толкают». И еще эти маслины. Прокоп и Марья будут делить их, как дети: тебе большая и мне большая, тебе эта сморщенная замухрышка и мне замухрышка. И каждый ревнивым оком следит за другим: так любят эту дурацкую, непонятного вкуса ягоду.

Выхожу на улицу, прислоняюсь лбом к стеклу

витрины. Чувствую, что умираю. У меня приступ любви к моим старикам. Не хочу в общежитие, не хочу на вокзал, хочу сейчас, сию минуту оказаться дома.

Любую квартиру называют домом. А у нас настоящий дом. С красным петухом на коньке крыши, с двумя большими березами в палисаднике. На одной березе — скворечник из футляра старинных часов. Весь город знает наш дом, весь город знает Прокопа — главного архитектора города. Но даже самые близкие друзья не догадываются, какие же на самом деле Прокоп и его злая сестрица. Марья. Это знаю только я. Знаю, как они грызут друг друга, как мучают меня, единственное светлое пятно в их жизни. Надо уехать от них надолго, может быть, навсегда, чтобы вот так, прислонившись лбом к холодному стеклу витрины, умирать от любви к ним.

Никто не подходит, не спрашивает, что со мной. Это не Петербург. Я никогда не была в Петербурге, но точно знаю, что там бы сразу ко мне протянулись интеллигентные, участливые руки.

В поезде я долго не могу уснуть. Москва слезам не верит. Моим слезам вообще никто не верит. Если бы у меня была мама, я бы, как все дети, плакала по любому горькому поводу. Но мамы нет, и мне некому плакать.

Я лежу на полке и думаю, как встретит меня Прокоп, что скажет Марья. Они не ждут моего появления: телеграмму я не посылала и застану их в том естественном состоянии, в котором им предстоит жить без меня. Я стараюсь представить это естественное состояние: как они молчат и гля-

дят друг на друга кроткими глазами. Вечером смотрят телевизор или вспоминают свои детские годы. Как справедливо, что я наконец-то дам им отдохнуть. Нельзя бесконечно испытывать терпение добрых старых людей.

Прокопу уже за шестьдесят. Марья скрывает свой возраст, но ей тоже около того. Они росли в добропорядочной семье, учились музыке и в детстве никогда не ссорились. Зато сейчас наверстывают. Последняя ссора произошла за два часа до моего отъезда. Прокоп пришел с бутылкой шампанского, плюхнулся в кресло и сказал:

— Сейчас на перекрестке у театра столкнулись три машины.

Марья поджала губы и глянула на брата так, будто он был виновником столкновения. Я тоже не пощадила его, спросила противным голосом:

— Может быть, четыре?

— Нет, не четыре, а три. — Прокоп разозлился.

И пошло-поехало. Марья накинулась на него:

— Я всю жизнь жду, когда ты остановишься. Асенька, он врет с трех лет.

Она всегда называет меня Асенькой, когда накидывается на Прокопа.

— Я задыхаюсь от вашей правдивости, — заорал Прокоп, — мне нечем дышать от ваших правдивых постных рож!

— Не надрывайся, лучше дай в ухо. Обещаешь всю жизнь. — Когда он орет, мне его не жалко. — Видели бы твои сослуживцы как ты провожаешь единственную дочь.

Прокоп открыл бутылку, шампанское выстре-

лило, струя взметнулась к потолку. В другой момент мы бы с Марьей бросились к нему на помощь, но тут ни одна не сдвинулась с места. Прокоп вылил остатки шампанского в бокал, выпил и пошел к двери. Открыл ее ногой, повернулся и «благословил»:

— Все равно провалишься.

Провожать до калитки меня пошла Марья. Мы шли, опустив головы, как две побитые собаки.

— Не потеряй деньги, — сказала она на прощание, — и брось свою привычку водить за собой хвост подруг и кормить их из своего кармана.

Господи, как они мне оба тогда надоели! Я чмокнула ее в щеку и побежала к троллейбусной остановке.

И вот, спустя месяц, я снова иду по своей улице. Она совсем не удивлена моему появлению. Наверное, даже не заметила моего отсутствия. Я так хорошо ее знаю и она меня, что никаких высоких чувств мы не испытываем друг к другу — ни любви, ни тоски расставания. Просто улица, и просто человек, который оставил на ней миллион своих следов, и каждый из них смывали дожди, затаптывали другие ноги.

Пятиэтажный желтый дом, в котором живет Наташка, среди одноэтажных и двухэтажных домиков кажется небоскребом. Я останавливаюсь у арки и еле удерживаюсь, чтобы не предстать перед ней в этот ранний час. Удерживает чемодан. В доме нет лифта, а Наташка живет на пятом этаже. Все-таки захожу во двор. Сажусь на скамейку, задираю голову и смотрю на Наташкин балкон...

Мы всегда собирались у Наташки Павловой. Я

и Светка. В квартире не было телефона, и за Наташкой надо было заходить. Заходили и засиживались. Наташкины братья-близнецы мотались по комнате как заведенные, бабушка ворчала на кухне: «Ходют и ходют, без них повернуться негде...» — и все равно лучшего места для разговора, чем эта тесная шумная квартира у нас не было. Сидели на диване, отгороженные высоким столом, с которого свисали неровные края вязаной скатерти, и чаще всего слушали Светкины монологи. Светка говорила выразительно. Когда она говорила, выходила из кухни бабушка послушать и даже близнецы прерывали свою беготню, клали подбородки на стол и слушали Светкин голос.

— Я его недавно поняла, — говорила Светка, и в глазах ее вспыхивали искры. — Я поняла, что такое счастье. Девочки, счастье — это умение радоваться. Надо находить радость во всем. Надо уметь носить радость не только в себе, но и на себе, как самое прекрасное и драгоценное платье.

Наташка всегда соглашалась с ней, восторженно поддакивала:

— Понимаю! Светка, я тебя понимаю!

Я помалкивала. На мой взгляд, самые мудрые вещи в этих разговорах изрекала бабушка: «Счастье голой рукой не возьмешь...»

Наташкины мать и отец возвращались с работы вместе.

Мать плюхала на стол сумку, набитую пакетами с едой, потом шла в прихожую раздеваться. Отец серьезно, но как-то незаинтересованно выспрашивал о школьных делах. Мать возвращалась в комнату, слушала и глядела на нас страдальчес-

кими глазами: «Ох, девочки, разговоры ведете, а уроки не учите».

На выпускной вечер мы отправились втроем из Наташкиной квартиры.

— Десять лет мы просидели за партой и на этом диване, — сказала с пафосом Светка.

Мы окинули прощальным взглядом комнату, будто знали, что уже никогда больше не соберемся втроем на старом диване.

...Я стою в Наташкином дворе возле круглой, обложенной беленым кирпичом клумбы и вдруг понимаю, что попала в чужую страну. Клумба поросла травой, из нее выглядывали розовые мохорочки маргариток. Этот дворовый пейзаж, замкнутый белыми кирпичами, был таким сиротским и несчастным, как укор: чего пришла, уставилась! Ну, были другие времена — дожди и солнце, другие цветы и песни. Иди, иди своей дорогой, не задерживайся. Все это уже не твое: и двор, и клумба, и Наташка, которая сейчас спит или собирает в детский сад близнецов. И что ты скажешь Наташке? «Здравствуй! Я поступила в институт». «Прощай! А я не поступила».

Я все-таки потащила свой чемодан на пятый этаж, к двери, за которой жила Наташка. Отдышалась, нажала пуговку звонка.

Наташка предстала передо мной в утреннем зачумленном виде. В халате, который относило в семье старшее поколение женщин, в обрезанных валенках на босу ногу.

— Аська! — крикнула она и отступила назад, как от привидения. — Почему ты с чемоданом?

— Потому что с посзда, — ответила я на ее дурацкий вопрос.

Она приблизилась ко мне, сжала своими худющими рукам и я поняла, что меня жалеют. Притащиться ни свет ни заря с чемоданом мог только человек, потерпевший крушение.

— А я плюнула, — зашептала она, — схватила трояк на сочинении и забрала документы. Чего истязаться, когда с четверками не прошли! Дома, конечно, думают, что я сдавала все экзамены. Понятно?

— Конечно, понятно. Не проговорюсь. Сдавала так сдавала.

— А Светка?

— Ой! У Светки такис дела — упадешь и умрешь на месте.

Но тут в коридоре появились близнецы. Наташка стала натягивать на них курточки. Я глянула в открытую дверь и увидела Наташкину бабушку. Она стояла, сложив ладони на животе, и глядела на меня скорбными, укоряющими глазами. Я знала, о чем она думает: «Что же это вы все как на подбор такис никудышные?»

Так же поглядела на меня и Наташкина мать. Я сказала ей весело:

— Здравствуйте!

А она, не глядя на меня:

— Здравствуй, здравствуй. — Открыла перед близнецами дверь и ушла вместе с ними.

— Не жизнь, а похороны в дождливый день, — сказала Наташка, когда мы уселись на диван и загородились от всего света столом. — За

гробом идут близкие родственники и льют очень горькие слезы.

— ...а покойник лежит мордой к небу, — подхватила я, — ловит ртом дождь и мечтает о той блаженной минуте, когда они наконец завалят его землей и оставят в покое.

Мы с Наташкой любим «красиво» поговорить. И кажемся друг другу в эти минуты очень остроумными и современными.

— Ну ладно, хватит, слушай про Светку. Светка оказалась самой примитивной мещанкой. Познакомилась в парке на танцах с курсантиком из военного училища, и они уже отнесли заявление.

— Куда?

— Как куда! В загс, естественно.

— Вот это да! — восхищенно говорю я. — В этом что-то есть, Наташка. Представляешь, он говорит: «Светлана, я не могу жить без вас, будьте моей женой».

— Я не завидую, — говорит Наташка. — Это точка. Пойдут дети. И Светка всю жизнь будет женой офицера.

— Офицер, инженер — не в этом дело. Печально то, что человек сошел со своей собственной дороги. Теперь она уже не человек, а как бы хвост. Куда муж, туда и она.

Мы долго моем Светкины кости, будто и не была она с первого класса углом нашего треугольника. Мне надо сказать Наташке, что я поступила в институт, но я не могу этого сказать, Наташка сидит уверенная, что обе мы в одинаковой беде. Разбить эту уверенность — значит сделать ее одинокой и несчастной. Я напишу ей письмо: «Ната-

ха! Я твой друг навсегда. Она большая-пребольшая, человеческая жизнь. Никто ничего не знает, кому повезло в ее начале, а кому нет. Может быть, из всех нас троих счастливой окажется Светка, потому что никто не знает, что такое счастье, когда оно приходит и куда уходит...» Это будет большое письмо, доброе и печальное. Письмо-прощание с Наташкой, городом и детством.

— Хочешь, я пойду с тобой? — говорит Наташка. — При посторонних они сдерживают свои эмоции, и тебе будет легче.

— Не надо. Во-первых, ты не посторонняя, — отвечаю я, — во-вторых, Прокоп и Марья — закаленные бойцы в битве за идеального человека, то есть за меня. Они выстоят.

Наш дом стоит в глубине двора и смотрит на меня квадратными, настороженными окнами. Прокоп внушил мне с детства, что прямоугольные окна высокомерны, а такие, как наши, чего-то ждут, кого-то выглядывают. Я открыла калитку и пошла по кирпичной дорожке, задевая плечом листья сирени, шла легкая, новая, предвкушая, какое потрясение будет сейчас у Прокопа и его сестры Марьи.

Теперь-то я знаю: все, что угодно, можно планировать, только не чувства. А тогда не знала. Взбежала на крыльцо, ворвалась в дом и закричала не своим голосом:

— Эй! Люди! Здесь есть люди?!

Прислушалась и услыхала спокойный Марьин голос:

— Анна вернулась.

У меня от обиды оборвалось сердце. Никто не спешил ко мне.

Я вошла в кабинет Прокопа. Он лежал на тахте. Напротив в кресле сидела Марья. Окна были зашторены, и в полосах света колыхался пластами сигаретный дым. Прокоп лежал и курил.

— Привет, — сказала я, — здравствуйте.

Прокоп кивнул, не отрывая головы от подушки.

— Единственный ребенок приехал с потрясающей победой, а они, как мух наглотались.

Прокоп улыбнулся, Марья изобразила на лице удивление:

— Поступила?

— Представь себе — поступила.

Я презирала их в эту минуту. Особенно Прокопа.

— Может, ты встанешь и поздравишь дочь?

— Я сейчас это сделаю, — ответил он, — но пусть дамы при этом не присутствуют.

Мы с Марьей вышли.

— Может, ты испечешь пирог? — накинулась я на Марью. — Я всегда подозревала, что в этом доме живут аристократы. Знаешь, что такое аристократизм? Это отсутствие человечности.

— Теперь буду знать, — сказала Марья. — Чего ты бесишься? — Она бросила взгляд на открытую дверь кабинета и шепнула.

— Прокопу плохо. Предложили на пенсию.

Прокоп догадался по нашим лицам, о чем мы шепчемся. Остановился по дороге в ванную, схватил своими толстыми ладонями мои щеки:

— Не переживай, ты родилась, когда мне было под пятьдесят. У тебя старый отец.

— У меня молодой отец! — крикнула я ему вслед. — Маленький медведь с колокольчиком!

Он запнулся, повернул в мою сторону голову:

— Неужели помнишь?

Помню. Мне было тогда лет пять. Мы ехали долго-долго на машине. Моя голова лежала на коленях Прокопа, а его ладонь на моей голове. Он вез меня к своей сестре Марье в маленький городок, где она жила и работала в библиотеке. Вез, чтобы там меня оставить, потому что после смерти моей матери замучился с няньками и карантинами в детских садах.

— Там есть кошка и собачка, — говорил он по дороге.

— А медведь? — спрашивала я. Зачем-то мне нужен был медведь.

— И медведь.

— Большой?

— Маленький, с колокольчиком.

Мы жили долго у Марьи, я завела там даже себе подружку, первоклассницу Тасю, которая научила меня читать. Все шло как надо, и не подозревал никто, что я подниму жуткий вой в день отъезда Прокопа.

— Обманщик! — кричала я ему. — Где маленький медведь с колокольчиком?

— Я сейчас приведу медведя, — успокаивал он меня, — тогда ты замолчишь, останешься?

Нет, я не собиралась оставаться, сказала ему такое, от чего он дрогнул и приказал сестре:

— Собирай ее.

Слова эти он никогда не вспоминал. И я тоже, хоть и не забыла. Я даже помню, как душили меня рыдания и как трудно было выкрикнуть:

— Ты мой маленький медведь с колокольчиком...

...Марья испекла пирог. Она это делает незаметно и быстро. Мы сели за стол, и я, как гостья с дальней дороги, чинно глядела на хозяев. Хозяин сидел грузно, второй подбородок покоился на круглом воротнике свитера, седая грива еще не разлохматилась, откинута назад, и от этого лицо устремлено вперед. Хозяйка — сама кротость, если бы не ниточка сомкнутых губ. Очень разоблачительные губы. Как бы смиренно ни светились глаза, губы не дадут им никого обмануть.

— Продолжим разговор об аристократах, которые живут в этом доме, — сказал Прокоп, разрезая пирог, — если мне не изменяет слух, вы об этом вели речь.

— Слух в порядке, — осадила я его. — Между прочим, самая аристократическая черта — это умение подслушивать чужие разговоры.

— И ты, и твои слова — не в счет. — Прокоп не желал со мной ссориться.

— Аристократов в этом доме двое. Я и Марья.

— Поздравляю, — буркнула я.

Тонкие губы Марьи вытянулись в улыбке. Ей понравилось начало разговора.

— Теперь об отличительной черте. Сначала ты сказала — бесчеловечность. Потом пыталась острить насчет подслушивания чужих разговоров. А на самом деле самая главная черта истинного аристократа... — Он замолк, глаза погасли, губы

сложились в обиженную гримасу. — Я не буду продолжать. Не желаю.

Мы молча пьем чай, едим пирог. Прокоп в своем репертуаре. Для кого-то сложная, оригинальная личность, а для меня, видящей его насквозь, — человек с затянувшимся периодом детства. Хорошо еще, что Марья сейчас настроена мирно. Молчит, счастлива, что причислили к аристократам. Ах, какой эти аристократы поднимают крик, когда время от времени начинают выяснять отношения! И все же вот такое молчание ничем не лучше скандала.

— Замрите, — говорю я им примирительно, — я привезла вам кое-что.

Бегу к чемодану и возвращаюсь с банкой маслин. Ставлю на стол. Прокоп задумчиво глядит на меня и вдруг изрекает:

— Глупо. Все, что ты совершаешь в последнее время, — глупо и жестоко.

Что-то случилось тут без меня, начинаю метаться в поисках ответа: Марья старая, Прокоп инфантильный, я поступила в институт, Прокопа выпроваживают на пенсию, Прокоп расстроен. Почему я поступаю глупо и жестоко?

— Прокоп, — спрашиваю я, — ты рад, что я поступила в институт?

— Я горд, — отвечает Прокоп. — При таком конкурсе поступить на архитектурный факультет — это подвиг.

— Мне повезло.

— Тебе повезло с отцом, — уточняет Марья, — не забывай, что он архитектор, ты с пеленок жила в этом мире.

— Я был главным архитектором, — говорит Прокоп, нажимая на слово «был».

И закрывает ладонью глаза.

Я не хочу его таким видеть. Пусть самодурствует, дразнит меня, издевается, что угодно, только не страдает. Надо его разозлить.

— Укроп, — ехидно говорю я, — с каких кислых щей ты стал аристократом? Ты ведь так гордился своей родословной! А там завалялся кто-то из высшего сословия?

— Мы с Марьей, — серьезно ответил Прокоп, — аристократы в первом поколении.

— Аристократы духа, — понимающе киваю я. — Теперь понятно, почему дочь твоя к этому не причастна. Это не передается по наследству.

— Что ты знаешь об аристократах! «Высшее сословие...» А о таких, как Чехов, сыновьях лавочников, что ты знаешь о таких аристократах?

Прокоп говорит со мной серьезно. Это бывает редко, и я слушаю его не перебивая.

— Возьмем аристократа в его чистом виде, как пишут в учебниках, из высшего сословия. Все у него — власть, деньги, какая-то свобода действий. И все-таки в одном случае он только помещик, дворянин, шкуродер, пьяница, развратник, а в другом аристократ. Постарайся понять: дух человека, его подлинный, а не сословный аристократизм заключается в умении отказывать себе. Отказаться от жратвы, а выпивать чашку кофе. Отказаться от своего характера, если он крут и нетерпим, отказаться от всего того, что противно природе человека.

Он говорит запальчиво, походя оскорбляя меня: «Господи, что ты уставилась, как овца? Ведь

ничего же не понимасшь!» — противоречит этими словами сам себе, но я не сержусь. Мне кажется, что он хочет убедить меня и себя, что поступил как аристократ, решив уйти на пенсию.

— Ты сам решил уйти на пенсию? — спрашиваю я строго.

— Да.

— И считаешь, что поступил правильно?

— Да.

— Ты думал, что я провалюсь и вернусь домой?

— Да.

На крыльце послышались голоса. Пришли старые друзья Прокопа — художники Микола и Сергей Ильич. Наш серьезный разговор прервался. Прокоп пошел встречать своих стариков, они там что-то выкрикивали в прихожей, хохотали и кашляли, потом ввалились в столовую.

— Не пугайтесь, это моя беглая дочь Анна.

Прокоп развеселился, приказал Марье принести наливку.

Когда та с вытянутым от недовольства носом поставила бутылку на стол, он поцеловал ей руку и «представил» пришедшим:

— Моя родная сестра Марья. Соратница. Друг жизни.

Марья зыркнула на него злым глазом и ушла на кухню. Я сказала Миколе:

— Прокопу, между прочим, пить нельзя.

Микола обиделся и заорал:

— А кто пьет? Где пьют? Прокоп, чего она лезет?

— Она здесь никто, — ответил Прокоп, — она поступила в институт и уезжает от нас навсегда.

...Я ушла от них. Когда приходят Микола и Сергей Ильич — это надолго. Миколу Марья не выносит. Сергей Ильич когда-то сватался к ней, но что-то у них не склеилось, и вот уже много лет они не смотрят друг другу в лицо, монотонно разговаривают как на уроке иностранного языка: «Я предлагаю вам взять этот кусочек». — «Спасибо. Но я уже сыт. Если вас не затруднит, налейте мне чаю». У меня с гостями общего языка нет. На их взгляд я существо сумбурное, без признаков внутренней жизни. Просто дочка их друга. Оба они убеждены, что я загородила Прокопу выход в архитектурные боги, связала ему руки в лучшие годы и потому он застрял в нашем городе, не дал выхода своему редкому таланту. С Миколой у нас был об этом разговор.

— Прокоп больной, — сказал Микола, — у него гипертрофия чадолюбивой шишки. — Он похлопал себя по затылку, показывая, где находится эта шишка.

Микола, сколько я его знала, был стареньким. И у меня никогда не поворачивался язык сказать ему что-нибудь обидное. И тут я не стала ничего раздувать:

— Хорошо, что я у него одна. Представляешь, если бы нас было пятеро?

— Это хуже пожара, — серьезно ответил Микола и сморщил нос, что выражало: «С кем я говорю? Разменяваю свои высокие мысли на пятикопеечные разговоры с этой девчонкой».

Они все передо мной ершились: и Микола, и Прокоп, и Марья. Их, как я понимаю, больше бы устроила девочка с опущенными в почтении рес-

ницами, такой книжный подросток, знающий свое место среди старших. Но подростки — явление временное. Вчера девочка с восторженными словами: «Я знаю, что такое счастье! Надо уметь носить радость не только в себе, но и на себе, как самое драгоценное платье», — а сегодня уже чья-то жена.

Я иду к Светке. Надо посмотреть, что за фрукт этот курсантик, который женится на ней. Надо спросить у него, как он представляет счастье, будет ли он носить его на себе торжественно, как парадный мундир.

Светка пугается при моем появлении. Глядит умоляюще.

— Ты что? — удивляюсь я. — Ты не рада мне?

— Ты уже знаешь?

— А что тут знать! Подумаешь, замуж собралась! Что такого?

Светка моргает ресницами, вот-вот заплачет. Говорит дрожащим голосом:

— Наташка от меня отказалась.

— Никто от тебя не отказался. И зачем тебе теперь Наташка?

— Ты тоже ничего не понимаешь?

Светка пальцами ловит с ресниц черные слезы и стряхивает их на пол. Ресницы густо накрашены, плакать с такими трудно.

— А что тут понимать? — говорю я. — У тебя будет муж, а все, что было, то было, настала новая жизнь.

— А дружба?

— Дружба никуда не денется. Дружба —

дружбой, служба — службой, а семья превыше всего.

Светка смотрит на меня печально и говорит страшные слова:

— Знаешь, Анька, у тебя всегда было мало святого за душой.

Жениха я так и не повидала. На столе лежала записка. Я ухватила глазом первую строчку: «Свет мой Светка!» Сорок человек учились со Светкой десять лет и ни одному не пришло в голову так прекрасно назвать ее. Но вот явился тот, кто полюбил ее и сказал: «Свет мой Светка...»

Домой я возвращалась, как на вокзал — сегодня ночь и завтра ночь, а послезавтра вечером придет мой поезд, и я поеду.

Марья стоит на крыльце в позе Ермоловой со знаменитой картины. Я прохожу мимо нее без слов. Спрашивать ни о чем не надо. Все ясно. Теперь надо посмотреть на Прокопа. Если он вышагивает по террасе с трубкой, лучше незаметно укрыться от их глаз, чтобы не навлекать новой волны скандала.

Шагов на террасе не слышно. На столе — отпитая на треть бутылка наливки, неубранная посуда. Марья подходит ко мне, говорит выдохнутым после бурных объяснений с Прокопом голосом:

— Я уеду от него. Мне не надо было вообще приезжать. Все из-за тебя.

Это я уже слыхала. Из-за меня у нее не та пенсия, как должна быть, из-за меня она погрязла в кастрюлях. Наверное, про себя считает, что из-за меня осталась старой девой.

— Я уеду, — повторяет Марья, — Лучше поздно, чем никогда.

— Не говори глупостей. А как же Прокоп?

— Ты же уезжаешь. Ты почему-то себя не спрашиваешь: «Как же Прокоп?»

— Я совсем другое дело. Мне надо учиться.

— Тебе прежде всего надо стать человеком.

— Я уже человек.

— Отнюдь нет. Тебя слишком любил Прокоп. А любовь не обучает. Ты ничему не обучилась.

— Я обучусь. У меня еще есть время.

— Нет, — говорит Марья, — для такого учения ты уже слишком стара. Но когда-то все-таки надо будет платить долги.

Я уже не могу отвечать ей спокойно, срываюсь, кричу:

— Сколько я тебе должна?!

— Ты должка Прокопу. А он — мне. Но я ему прощаю. Он занимал не для себя, для тебя.

— Ах, вот как! Ближайшие родственники вели счет расходам. Кормили кашей и записывали, сколько стоит крупа, сколько молоко!

— Чудовище! — прошипела Марья и плюнула в мою сторону. — Утопить такую не жалко.

— Всех не перетопишь. — Я видела, как злые слезы катятся у нее из глаз, но жалости они у меня не вызывали. — Все молодые идут своей дорогой. Они выплачивают свои долги следующему поколению — детям.

— Правильно, — затрясла головой Марья, — тогда ты узнаешь. Это будет справедливо.

Она пошла от меня в свою комнату. Сухонькая разгневанная старушка. Когда я увидела ее пря-

мую узкую спину и седой узелок на затылке, то поняла, что я сейчас вытворяла. Отчаяние охватило меня.

— Марья! — заорала я, и бросилась ей наперерез. — Прости меня! — Я бухнулась на колени, уткнулась лицом в ее ноги. — Ударь меня, прокляни, только прости.

Марья опустилась на пол, уткнулась лицом в мое плечо:

— Он умрет без тебя.

— Прокоп? — спросила я.

— Он умрет. Я это знаю. Это так все сразу: и пенсия и ты.

— Что же делать, Марья?

— Пожалей его. Не уезжай. Останься.

У нее были все-таки старосветские понятия о жизни. Как я могу остаться? Такой конкурс! Такая победа! Прокоп сказал: «Я горд».

— Я никуда не поеду, — сказала я Марье, — останусь с вами.

— Обо мне речи нет. Это для Прокопа. — Марья поверила моим словам. — Напиши письмо в институт. Пусть переведут на заочное. Прокоп устроит тебя в проектный институт. Ты будешь учиться и работать, а он будет жить.

Она говорила, и каждое ее слово убивало меня. Прокоп будет жить! Для этого я должна отказаться от своей жизни. От города, который не верит слезам, а верит удачливым, смелым людям, от своих предчувствий, что там со мной случится что-то необыкновенное.

— Из-за чего вы поссорились? — спросила я, чтобы перевести разговор на другое.

Марья поджала губы, прежнее надменное выражение появилось на лице.

— Микола — алкоголик. Я это сегодня установила. А наш готов с ним пить до инфаркта. — Она прикрыла глаза, решала: говорить — не говорить, наконец решила: — Та бутылка, что стоит на столе, — вторая.

Бедный Прокоп. Ему без меня будет действительно плохо. Не мой отъезд, не Микола-алкоголик, а родимая сестрица Марья доведет его до инфаркта.

— Он очень расстроился? — спросила я.

— Он лег и захрапел.

Я помогла Марье подняться. Килограммов в ней было тридцать, не больше.

— Если не спит, — сказала она, — принеси ему чая.

Прокоп не спал. Посмотрел на меня искоса и снова уткнулся в книгу. Я спросила:

— Будешь пить чай?

Он покачал головой: не буду. Не отрываясь от книги спросил:

— Когда уезжаешь?

— Послезавтра.

— Один вопрос: не могла бы ты забрать с собой Марью?

— Папа, — я произношу это слово торжественно, и он вскидывает голову, — папа, почему о простых вещах мы никогда не говорим серьезно?

— Как-то оно так пошло и катится, — отвечает Прокоп. — А какие простые вещи ты имеешь в виду?

— Те, что происходят со мной. Я поступила в

институт. У меня начинается новая жизнь, а ты ничего не хочешь сказать мне вслед.

— Я уже все сказал. Я тебя вырастил. Ты поступила, а я вступаю... Тоже в новую жизнь. — Он замолкает, потом исподлобья подмигивает мне: — Забери с собой Марью.

С ним нет никакого сладу. Сидит толстый и сникший. Волосы растрепаны, седые космы развеваются, как у мудреца.

— Помнишь Наташку и Светку?

— Помню.

— Наташка провалилась, а Светка выходит замуж.

— Ты тоже выйдешь замуж.

— Не знаю.

— Когда выйдешь, рожай побольше детей.

— Зачем?

— Когда один — это плохо. Трудно.

Я добилась серьезного разговора. Но что-то мне от него совсем не радостно. Прокоп снова погружается в книгу, я сижу тихо, оглядывая комнату: старый письменный стол, черный, во всю стену и тоже старый книжный шкаф, в нем из-за стекла смотрят на меня мои детские фотографии. Девочка с бантиком на макушке, девочка с косами, девочка с куклой, девочка с книжкой. Прощай, девочка! Я подхожу к креслу, в котором сидит Прокоп, кладу ему сзади руки на плечи и спрашиваю:

— Куда оно уходит?

Он поворачивает ко мне голову, серый глаз глядит чисто, с интересом:

— Ты спрашиваешь про счастье?

— Про детство.

— Никуда, — отвечает Прокоп, — остается. Сидит и сидит, а потом возьмет и вылезет: здравствуй.

— Ты мой умный старенький мальчик, — говорю я и кладу свою голову на его седые лохмы. — А я знаешь кто?

— Кто?

— Я твоя хорошая дочь.

Прокоп кашляет и хриплым голосом спрашивает:

— Ты в этом уверена?

Я не уверена.

— Прокоп, — говорю я ему, и слезы ползут у меня по щекам, — хочешь, я никуда не поеду, останусь. Буду учиться заочно. А ты меня по блату устроишь в проектный институт.

Он качает головой: нет, не хочу. Губы вздрагивают, будто он что-то беззвучно произносит, потом поднимает на меня глаза, смотрит строго и грустно.

— Тебе еще долго жить на свете. Ты еще узнаешь, что те, кто уезжает, возвращается. А тот, кто уходит, никогда.

Я понимаю, о чем он говорит, и сердце мое пустеет от горя.

— Ты никуда не уйдешь, — говорю я ему, — и я никуда не уйду, я только уеду и вернусь. А ты будешь сидеть и ждать меня как...

— ...как Пенелопа, — подсказывает Прокоп. — Дурища, по-моему, была эта Пенелопа. Сколько она ждала?

— Сколько надо, — отвечаю я. Мне не нра-

вится, что он опять хочет отделаться от меня болтовней. — Прокоп, давай серьезно.

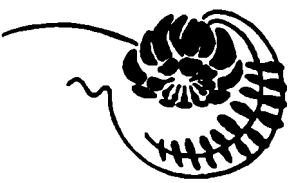
— Давай, — соглашается он. — По блату я ничего и никого не устраивал. Странно, что ты этого не заметила. И я вряд ли рекомендовал бы тебя сейчас в проектный институт. И вообще тебе самое время пожить среди людей.

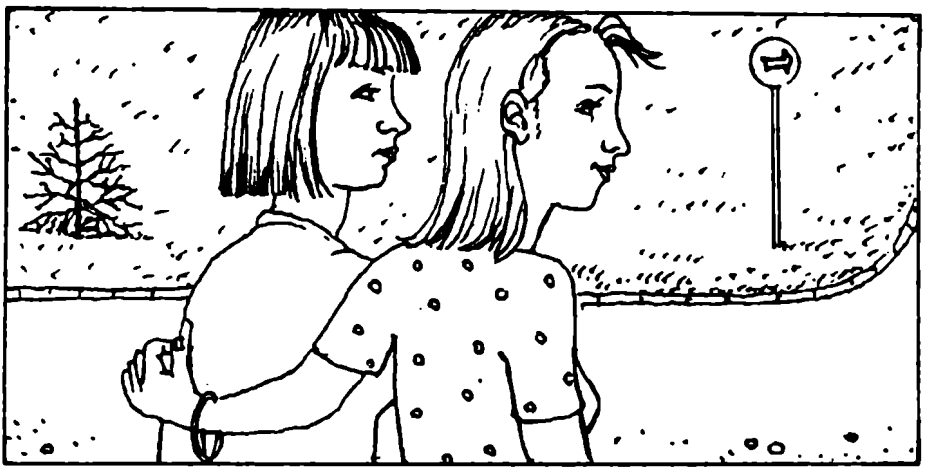
Я стараюсь попасть ему в тон:

— Надо мне скорей становиться взрослой, самостоятельной. Не сердись, но ты и Марья оберегали меня от жизни, очень любили. А любовь не обучает.

Мне очень хочется успокоить его, я повторяю Марьину фразу о любви, которая не обучает, и удивляюсь его словам:

— Любовь обучает. Больше, чем что-нибудь иное. Только мы плохо учимся. А насчет того, что надо скорей становиться взрослой, ты не спеши. Не спеши.





КАК БЫЛО — НЕ БУДЕТ

Когда Натка соглашается со мной, поддакивает, ей жалко себя до слез. И вид у нее в такие минуты фальшивый: ей не только жалко себя, но еще и стыдно. И мне становится не по себе, когда она вытягивает из себя согласие. Я говорю:

— Ну что ты, Натали, мучаешься? Тебе ведь хочется спорить. Твой организм так устроен, что ты дня не можешь прожить, чтобы на ком-нибудь не разрядиться.

Натка смеется. У нее легкий характер: спорит до белого дыма в глазах, а скажешь вдруг смешное словечко, она и захохочет. Я так не могу. Я, по Наткиному выражению, не умею спорить возвышенно, перехожу на личности и каждый острый разговор заканчиваю банальной ссорой. Недавно мы поссорились из-за природы. Я сказала то, о чем говорят все: что природа гибнет и что я все-таки пойду, наверное, на биологический. Хорошо,

когда даже маленькую работу освещает большая цель. Я буду спасать природу. Натка сразу почувствовала добычу и, как кошка на мышь, бросилась на меня:

— От кого спасать?

— От людей. Ведь это мы ее уничтожаем.

— Как ты ее будешь спасать?

Я разозлилась на Натку. В каждом споре у нас получается так, что она нападает, а я отбиваюсь.

— Я буду учиться этому. Пять лет. Меня научат, как это делать.

— Этому не надо учиться, — Натка высокомерно взглянула на меня, — это без всякого учения знает каждый. Спасти природу невозможно.

И пошло-поехало. Натку засасывало родное болото спора.

— Ты как попугай, — тянула меня за собой в это болото Натка, — произносишь чьи-то слова, а собственная голова гуляет. Что такое человек? Человек — сам природа. И то, что он делает, если даже неразумно, то закономерно. Вот здесь когда-то был лес, а теперь город. Была большая река, а сейчас речушка. Пройдет время, и этой речки не будет. Все в природе и без помощи человека рождается и умирает.

— Но можно ведь помочь природе, пусть и речка, и лес живут свой естественный век.

— Человеку это не надо. Человек хочет так помогать природе, чтобы выкачать из нее побольше. А права у него такого нет. Кто ему дал такое право? Разум? Еще неизвестно, что о нас думают звери и деревья.

— Не умничай, Натка, — отбивалась я. — Человек — главное достижение природы. И поэтому он несет ответственность перед ней. Дойдет до того, что в зоопарках будут аквариумы и на них таблички: «Судак», «Щука».

— Зачем человеку рыба? — разъярилась Натка. — Нет, ты гляди мне прямо в глаза и отвечай: отчего так заботится человек о рыбе? Любит ее, как меньшую сестру? Уважает ее образ жизни? Рыбе, между прочим, все равно, где погибать — в отравленной воде или на сковородке.

Спорили мы часа три. Я выдохлась — и возненавидела Натку. Бедные дети, которых она будет учить. Уж она им заморочит головы. Одно для них спасение: что еще год впереди и Натка за этот год, может быть, передумает поступать в педагогический.

Но вряд ли она передумает. С седьмого класса Натка — в окружении детей. Вечно у дверей нашего класса поджидают Натку девочки и мальчики с серьезными, преданными глазами. Она их уводит по воскресеньям на стадион или за город, а в такие дни часто приходит к ним после уроков, и они о чем-то долго разговаривают.

Дома у нас Натку любят и ставят мне в пример. Папа зовет ее «капитаном». Когда она приходит, он появляется в столовой, садится в кресло и задает всегда один и тот же вопрос: «Ну так что, капитан, будем делать?» Натка каждый раз отвечает по-разному, папе нравятся ее ответы, и они, как два заговорщика, перекидываются своими малопонятными фразами и очень друг другом до-

вольны. В тот день, когда мы с Наткой разругались из-за природы, она на его вопрос ответила:

— Будем спасать природу.

Папа пожал плечами, что означало: вот как? В этом что-то есть. И спросил:

— А кто будет спасать вас?

— Нас спасут знания, — ответила Натка.

Папа не знал про наш спор, и вопросы его полетели в другую сторону:

— А как ваши знания толкуют радость? Что есть радость на современном этапе развития человека?

— Радость на всех этапах, — без запинки ответила ему Натка, — понятие чисто математическое. Рождаешься ты, а не кто-то другой, который мог бы родиться вместо тебя. Один шанс из миллиона или миллиарда. Теория вероятности. Мы ее еще не проходили.

— Завидую вам, «капитан». Значит, кораблик идет своим курсом и ветер в паруса?

— И чайки над головой, — сказала Натка, — и волны за бортом, и небо в звездах.

Красиво они тогда поговорили. Мама вышла из кухни и прервала их высокий диалог.

— Наташа, Катя, — сказала она, — идите пить чай.

Моя мама любит, когда мы сидим с Наткой на кухне. Она говорит: «Когда у вас будут свои дети, вы поймете, какое это счастье — стоять в сторонке и смотреть, как твоя дочь и ее подруга едят».

Наткина мать тоже любит, когда я появляюсь у них. Она работает в библиотеке. Живут они в маленькой комнатке коммунальной квартиры,

живут дружно, как две сестры, и соседи говорят, что Натка похожа на старшую сестру, а мать — на младшую. Когда я прихожу к Натке, ее мама часто спрашивает у меня: «Катюша, может, ты мне объяснишь, куда улетучиваются деньги?» Я могла бы ей объяснить, да она сама не хуже меня знает, что все дело в ее характере и небольшой зарплате. Натка иногда заводит тетрадь, пишет на голубой обложке красный заголовок: «Расходы», и пытается научно проследить, куда улетучиваются деньги. В левой колонке она подсчитывает, сколько стоит квартплата, прачечная, мыло, зубная паста, в правой — хлеб, картошка, сахар, масло... Но вдруг приходит ее мама и кладет на стол пакет, из которого торчат желтые рога бананов. Натка радуется, мы усаживаемся за стол и, как три веселые обезьяны, смеемся и опустошаем пакет. После этого Наткина рука не может вывести в тетрадке слово «бананы», и научный подсчет прекращается.

Моя мама считает, что жизнь у Натки трудная и что из таких девочек, познавших в детстве что почем, вырастают настоящие люди. А такие, как я, не умеют ничего ценить, и поэтому неизвестно, что из меня получится.

Я обычно не спорю с мамой. Для споров у меня есть Натка. Мне хватает ее для этого дела. Маме я говорю:

— Почему ты не родила еще одного ребенка? Теперь твоя жизнь целиком сосредоточена на мне.

Мама пугается:

— В твои годы я была совсем другой. В твои

годы мне бы и в голову не пришло так отвечать матери.

— Каждый человек похож сам на себя, — отвечаю я ей, — и при чем здесь твои и мои годы?

— Ты меня не запутаешь. Все дело в том, что вас всех распустили, закормили и заласкали, в результате выросли элементарные дурехи.

Все-таки ей удалось втянуть меня в спор.

— Не все мы дурехи, твоя любимая Натка очень даже положительная личность.

Вошел папа.

— Не все дурехи, — сказал он, — а единичные экземпляры. Тем хуже для нас.

Он, конечно, сразу взял мамину сторону. А что ему еще оставалось делать, бедному отцу взрослой дочери?!

Я люблю своих родителей. Не только за то, что они родили меня и вырастили. Я люблю их как людей. И прежде всего за то, что они любят друг друга. Они, конечно, думают, что это их тайна. А я все вижу: как гордо смеется мама, когда папа при гостях удачно острит, как мрачнеет папа, когда мама радостно нахваливает кого-нибудь из его новых друзей. У него гаснут глаза, и он начинает зевать. Это он так ревнует. Однажды я спросила у него:

— Ты женился просто по любви или это была страсть?

Он вздрогнул, очень долго глядел на меня с ужасом, потом наконец пришел в себя:

— Не вопрос, а какой-то конец света...

Иногда мне хочется, чтобы они были не моими родителями, а просто людьми, с которыми бы я

жила вместе. Тогда бы мы понимали друг друга. Когда люди дружат, разница в годах не имеет значения.

С Наткой мы говорим о родителях мирно. В этом вопросе у нас полное взаимопонимание.

— У них в генах сидит ответственность за свое потомство, — говорит Натка.

— И почему-то им всем кажется, что в своей молодости они были идеальными, — говорю я.

Если бы внешность Натки досталась другой девчонке, та была бы красавицей. Она отрастила бы волосы до плеч, откинула бы их со лба назад, и все видели бы красивый лоб с тоненькими черточками бровей, зеленые глаза, а редкие веснушки играли бы на щеках. Эта девчонка всегда бы улыбалась, потому что, когда у человека прекрасные зубы, он просто обязан улыбаться. Но у Натки спортивная стрижка, крыло темных с рыжиной волос закрывает ей пол-лица. Она почти никогда не улыбается, только смеется в тех случаях, когда действительно смешно. Нарядов у нее — никаких. На вечерах она всегда в том же, в чем и в школе.

Натка дружит со мной и со своими ребятами. На других у нее уже не остается ни времени, ни сил. Когда мы идем с ней по улице, всякий раз на нашем пути возникает десятилетний человек, который издает радостный вопль: «Наташа!» Он стоит, задрав голову, заглядывая в Наткины глаза, больше сказать ему нечего, я гляжу на него как на помеху, а Натка говорит:

— Это Коля Рыжов. Я тебе о нем рассказывала. Очень хороший мой друг.

Мальчишка отходит от нас, я вижу, как он

несет в себе Наткины слова, какие это для него жизненно важные слова.

— Натка, — говорю я, — пошли на улицу Вольскую.

— Ох, эта улица Вольская, — притворно вздыхает Натка, — когда-нибудь это кончится?

— Никогда, — отвечаю я, — уже три года это тянется. Это уже проверено, Натка. Так будет всю жизнь.

На улице Вольской живет Игорь Карцев. Улицу вдоль пересекает сквер, мы часто ходим по нему взад и вперед, и, возможно, из своего окна нас видит Игорь. Когда мы проходим мимо его дома, у меня стучит сердце, я не слышу Наткиного голоса, отвечаю невпопад. Натка презирает меня в эти секунды, скашивает в мою сторону глаз, и во взгляде ее недоверие.

— Психоз какой-то, а не любовь. Любовь делает человека великим, а у тебя несчастный, жалкий вид.

Дом Карцева остается позади, я прихожу в себя и отвечаю:

— Что ты можешь знать о любви? Когда влюбишься, посмотрим, какой у тебя будет вид.

— Я не влюблюсь в человека, которому наплевать на меня. Я так, как ты, не смогу. И вообще это неправильно — любить так, как ты.

— А как правильно?

— Гордо и смело. А ты кружишь по этому скверу, как преступник у места преступления. Ты же никого не убила. Чего тогда трусишь?

Про «гордо и смело» я уже слыхала. В восьмом классе, наслушавшись Наткиных речей, я написа-

ла Карцеву записку: «Послушай, Игорь, ты мне очень нравишься, и мне необходимо знать, как относишься ко мне ты. Надеюсь, что ты порядочный человек и об этой записке никто не узнает». Он ответил мне через три дня. Ответ его — мой позор и стыд. До сих пор краснею, как вспомню. Он написал: «Я отношусь к тебе хорошо». У меня пол под ногами качнулся, когда я прочитала эти слова. Они означали: «Ты умираешь от любви ко мне? Что ж, это твое дело. Я не осуждаю тебя за это, но и помочь ничем не могу». Натка добила меня.

— Каков вопрос — таков ответ, — сказала она. — Татьяна Ларина писала возвышенно и получила возвышенный ответ: «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел...» Ты же не собиралась замуж за этого Карцева?

Замуж! Кто в восьмом классе думает о замужестве. Но потом, через несколько лет, все девчонки за редким исключением выходят замуж, и многие за тех, кого любили в школе. Я сказала Натке:

— Замуж я не собираюсь, и это тебе известно. Но как теперь жить, тоже не знаю. Стыдно мне. Хоть переводись в другую школу.

Натка обозвала меня старорежимной барышней.

— Ну, призналась ему, что он тебе нравится, ну, схлопотала в ответ равнодушную фразу. Тоже мне, трагедия! Ты возьми и один раз хорошенько вглядись в этого Карцева. Ничего спортивного, самая рядовая личность.

Она обидела меня. Я не могла вглядеться в Карцева. Я сидела на перемене в классе, если он

был в коридоре, и выходила в коридор, если он оставался в классе. Когда передо мной случайно возникало его лицо, я столбенела и чувствовала, как пламенеют мои щеки и от смущения на глазах выступают слезы. Наверное, он и до моей записки знал, как я к нему отношусь.

В девятом классе стало полегче. Были недели, когда я не думала о нем. Со злорадством слушала, как он путается у доски, бросает вопросительные взгляды на класс, ловя подсказку. На перемене оглядывала его спину и говорила себе: «Сколиоз. Искривление позвоночника. Мелкий, сутулый тип». Но проходило время, я глядела на его затылок, и это был самый драгоценный затылок на свете, а голос, когда он отвечал урок, был такой, что только за этот голос надо было ставить пятерку, и это было бы справедливо.

— Натка, пошли на улицу Вольскую, — говорю я, заглядывая в зеленые Наткины глаза.

На дворе июнь, первые жаркие дни последних школьных каникул.

— Ох, эта улица Вольская! — Натка вздыхает. — Когда-нибудь это кончится? Такой день губить на улицу Вольскую! Поехали лучше на озеро.

Я не спорю. На улицу Вольскую можно пойти и вечером. А день действительно солнечный, жалко упускать такой замечательный день. Мы расстаемся с Наткой, бежим домой за купальниками и полотенцами, потом встречаемся, и автобус везет нас на окраину города, в молодой лесопарк, посаженный на берегу чистого и прохладного искусственного озера.

— Вот тебе финал нашего спора о природе, —

говорит Натка, — погляди на это озеро и деревья. Человек сам создает себе природу. Там, где ему надо и какую надо.

— Ладно, — отвечаю я. — Пусть будет твой верх. Но я вдруг поняла, почему ты дружишь с детьми. Ты обожаешь поучать. Сверстники загрызли бы тебя спорами. а дети глядят тебе в рот, и ты счастлива.

Натка ничего не отвечает, на бегу снимает платье и с разбегу бросается в воду. Уже в воде, когда я подплываю к ней, говорит:

— Я хитрая. Мои ребята всего лишь на пять лет моложе меня. Когда им будет сорок, мне будет сорок пять. Представляешь, сколько у меня будет старых друзей!

Мы лежим на песке, и я думаю о том, что сказала Натка.

— А мне не надо столько друзей. Мне нужен один друг. Но только, чтобы он был очень надежный и верный.

— Карцев?

— Нет. Карцев — это любовь. А друг — это ты.

Натка молчит. Мокрые волосы откинуты у нее назад, она щурит глаза, и по этим глазам трудно определить, о чем она сейчас думает.

Возле нас располагается толстая семейная пара с таким же толстым ребенком лет трех. Мама достает из цветастой сумки яйца, бутылки с молоком, и они начинают есть. Потом малыш в зеленых трусах подходит к нам. В одной руке у него пряник, в другой — конфета.

— Как тебя зовут? — спрашивает Натка.

— Аннуса, — отвечаст мальчик и улыбается.

— А меня — Наташа, а ее — Катя. Очень хочется есть, Андрюша. Дай мне, если не жалко, пряник.

Мальчик отдает пряник.

— И конфету, — говорит Натка.

Он отдает и конфету. Стоит, смотрит удивленными глазами, ждет, когда мы вернем ему его дары. Он точно знает, что взрослые часто просят, но никогда не берут. Но Натка разламывает пополам конфету и пряник, и, когда они исчезают у нас во рту, мальчишка начинает реветь. Мать и отец глядят на нас как на грабителей, мать кричит:

— Андрейка, назад! Ты зачем ко всяким подходишь?

Она поднимается, утаскивает от нас плачущего Андрюшку, по дороге награждает его шлепком и говорит мужу:

— Чего тебя сюда несло? Там и вода ближе, и киоск рядом.

Мы с Наткой поднимаемся и уходим.

— Пойдем берегом, — говорит Натка, — берегом, а потом парком. Испортили они мне настроение.

Мне тоже испортили. Такие толстые, сытые и жадные.

— Они не жадные, — отвечает Натка, — просто глупые. И дитя глупое.

Очень правильно, что мы взяли у него конфету и пряник. Пусть родители кормят его, а воспитывать должно общество.

На пляже мало людей, сегодня рабочий день,

в субботу и в воскресенье здесь не переступить. Купальники наши высохли, мы надеваем платья и сворачиваем в парк. Идем по широкой тропе, на которой колышутся солнечные пятна, на деревьях свистят и верещат птицы, к Натке возвращается хорошее настроение, и она запевает песню. Я подпеваю. Нам легко и радостно, как легко и радостно бывает после купания.

Парк кончился. Теперь остается пройти небольшую пыльную улицу поселка. Она упирается в шоссе, на котором остановка автобуса. Улица доживает свои последние дни, скоро ее снесут. Это бросается в глаза: огороды кое-где не засажены, заборы зияют дырами, посреди улицы уже кто-то продает свой дом на снос — он наполовину разобран, груда бревен лежит в палисаднике.

Навстречу нам идет парень. Он высокий, в красной майке, лицо блестит от пота. Приближается, и я вижу, что блестят у него и плечи, а на шее капельки пота. Поравнявшись с нами, он вдруг взмахивает руками, расставляет их так, словно хочет обнять нас обеих сразу. Мы шарахаемся в сторону, но парень успевает схватить Натку за руку.

— Пусти, — говорит Натка, и лицо ее морщится от боли и досады, — пусти, дурак!

И тут происходит то, чего я не вижу, спина парня в красной майке заслонила от меня удар. Я вижу только, как он отскакивает в сторону, а Натка лежит на спине, лицо ее зажато ладонями, и сквозь пальцы проступает кровь.

Все, что происходило потом, я тоже не вижу

глазами, будто что-то ослепило меня, помню только страшную ярость и отчаяние.

— Стой! — заорала я и бросилась вслед за идущим не спеша парнем.

Он не думал, что я нападу на него, я сама не знала, что сделаю, когда бежала за ним и кричала «стой!». Он остановился, подождал, видимо, мой крик заинтересовал его. Подбегая, я увидела его хмурые, совсем не злые глаза, в них было такое выражение, будто он только что проснулся. Этот взгляд охладил меня.

— Сволочь, — сказала я и заплакала, — что же ты наделал, сволочь?

Он ничего не ответил и опять не спеша пошел от меня. Я нагнала его, забежала вперед; если бы у меня были силы, я бы задушила его, и рука бы у меня не дрогнула. Но у меня не было таких сил. Я вцепилась ногтями в его скользкие потные плечи и закричала так, будто это не я, а он напал на меня. Это был крик сошедшего с ума человека. Он испугался.

— Ты что? Ты что? — услыхала я его голос.

Он оторвал от себя мои руки и побежал. Я стояла и глядела, как он бежит, и слезы стекали с моих щек на шею и на воротник платья. Это были слезы бессилия. Я плакала оттого, что не могу догнать и убить его.

Я вернулась к Наткс. Возле нее стояли две пожилые женщины, у одной из них было в руке ведро, наполовину наполненное водой.

— Как же это он ее? — спросила та, что была с ведром.

— Мы перепугались, — добавила другая, — думали, насмерть.

Я достала полотенце, оно было влажное после купания. Натка отняла от лица руки, поднялась и стала умываться. Кровь продолжала идти из носа, и я увела ее в тень, на скамейку. Там она сидела задрав голову, с мокрым полотенцем на лице. Подошли еще женщины. Одна из них сказала:

— Водются с хулиганьем, потом они им морды бьют.

— Это Федька был Никонов, а девчата не наши.

— Хороших не тронут, видать, такие же оторвы, как и Федька.

Они стояли в своих цветастых платьях, разглядывали нас, и почему-то ни в одной мы не вызвали сочувствия.

— Как вам не стыдно, — сказала я, — хулиган ударил человека, а вы стоите и злорадствуете!

Это на них подействовало, заговорили по-другому:

— В суд на него надо подать.

— Возьмите медицинскую экспертизу и — в суд.

Натка отняла полотенце от лица. Кровь уже не шла. По правой щеке к глазу тянулась припухлая белая полоска. И веко правое чуть припухло.

— Больно? — спросила я.

Она не ответила, поднялась и пошла. Тетки расступились, пропуская ее. Я подхватила со скамейки наши сумки, засунула в одну из них мокрое, с пятнами крови полотенце и побежала за ней.

В автобусе все смотрели на Натку. Правый глаз у нее уже почти не был виден, белая припухлая полоска на щеке исчезла, вместо нее проступила голубизна — предвестница огромного синяка. На Наткином месте я бы отвернулась к окну или прикрыла лицо рукой. Но она стояла, вскинув голову, и смотрела вдаль здоровым глазом, и глаз этот, когда я поймала его взгляд, испугал меня своей отрешенностью.

— Пойдем в поликлинику, — сказала я, когда мы вышли из автобуса, — надо взять справку, надо привлечь этого хулигана к ответственности. И вообще тебя должен осмотреть врач.

Натка покорно пошла за мной.

* * *

Я не помню, как оказалась на улице Вольской. Может быть, сработало то, что я с утра стремилась сюда. Натка сказала: «Такой день губить на улицу Вольскую. Поехали лучше на озеро». Я согласилась, а сама подумала, что на улицу Вольскую можно пойти и вечером.

Так оно и получилось. Я притащилась сюда в сумерках, села на скамейку напротив дома Карцева и стала думать, что делать дальше. Натка, когда ее несли на носилках в машину «скорой помощи», шепнула мне: «Придумай что-нибудь... Скажи маме, что я упала... или меня выбросило волной. Она не знает, что там нет волн». Я ответила: «Скажу как надо». Машина уехала, и я не успела спросить: а надо ли говорить, что ее увезли

в больницу? Ведь если скажу, Наткина мама обязательно явится в больницу и там узнает правду. А если не говорить про больницу, то где же тогда Натка?

Голова моя шла кругом. Я сидела на скамейке и ругала себя, что не влезла в машину «скорой помощи». Надо было ехать вместе с Наткой. А в больнице надо было идти к главному врачу и просить, чтобы он разрешил мне бесплатно работать санитаркой в той палате, в которую положат Натку. Тогда бы я по телефону объяснила и своим родителям, и Наткиной маме, что случилось, и все было бы намного легче и проще. Но тут я вспомнила потное лицо и плечи того человека, который ударил Натку, и опять, как тогда, когда я бежала за ним, все у меня внутри заволоклось злостью и желанием убить его.

Три года мы прогуливались с Наткой по улице Вольской, и ни разу тот, ради кого это совершалось, не попался нам навстречу. А тут, когда я о нем совсем не думала, он вдруг появился.

Я увидела Карцева издали. На нем была белая рубашка и светло-серые, хорошо отглаженные брюки. А я сидела в измятом платье, со спутанными волосами, и лицо мое было серым и несчастным.

В первую секунду, когда я его увидела, мне захотелось спрятаться, исчезнуть. Но он увидел меня и поднял руку, приветствуя:

— Добрый вечер, Коровина. Кого ждем?

Я не люблю свою фамилию. И Карцев это знал.

В классе меня все зовут по имени. Он специ-

ально сказал «Коровина», чтобы я от негасимой своей любви не бросилась к нему на шею.

— Сядь, — сказала я ему, — сядь, Карцев, на скамейку. Мне нужна твоя помощь.

Он поддернул на коленях брюки и сел на другой конец скамейки. Не глядя в его сторону, я рассказала о том, что случилось с Наткой.

— В какой она больнице? — спросил Карцев.

— Не знаю. Хирург послал ее в рентгеновский кабинет, а уж оттуда ей не дали выйти. Вызвали машину и унесли на носилках.

— Наверное, сотрясение мозга, — сказал Карцев, — это надолго. Самое ужасное, что целый месяц даже читать нельзя.

— Самое ужасное, — зашипела я на него, — что ты ничего не понимаешь. Тот гад сейчас и думать не думает, что Натка в больнице. Я дышать не могу из-за этого.

— Надо Натке подать на него в суд, — сказал Карцев, — ты видела все и будешь свидетелем.

— И его могут посадить в тюрьму?

— Вполне. Присудят года три и отправят в колонию строгого режима.

— И что он там будет делать?

— То, что все там делают. Будет работать, исправляться.

— И по морде ему никто не даст кулаком?

— По морде — такого наказания нет.

Я и сама знала, что такого наказания нет. Но если бы ему даже присудили десять лет, искупить то, что он сделал, никакой работой невозможно. Человек упал от его удара, залился кровью, а он будет три года работать в какой-то колонии... Пра-

вильно было бы так: суд присуждает кому-нибудь, более сильному, заехать по его потной морде, и чтобы он упал, и кровь у него пошла из носа, и чтобы рентген показал, что у него сотрясение мозга. А потом уже, когда очухается, пусть три года исправляется. Я сказала об этом Карцеву. Он хмыкнул:

— У тебя жажда мести. Око за око. И к тому же, как ты представляешь себе человека, который по приговору суда дает по морде? Это что, по-твоему, должность такая или на общественных началах?

— У меня жажда справедливости, — ответила я ему. — Я не знаю, кто это должен делать, пусть хоть робот. Знаю одно: это было бы справедливо.

Карцев поднялся. Меня словно что-то толкнуло в грудь: неужели он поднялся для того, чтобы уйти? Такого не может быть.

— Я пойду, — сказал Карцев, — ты позвони мне завтра. Ты ведь будешь завтра в больнице?

Он не назвал мне номер своего телефона. Был уверен, что он у меня есть. Посидел на скамейке на приличном расстоянии, узнал новость, поболтал и поднялся. Надо было сказать ему на прощание что-нибудь отважное: «Неужели это в тебя я была влюблена? Стыдно поверить», но я почему-то заискивающим голосом стала просить:

— Не уходи, Игорь. Пойдем на ту улицу. Там всего несколько домов. Мы найдем того хулигана. Я помню его имя и фамилию. Я бы не просила тебя об этом, но уже темно, и мне, честно говоря, страшно.

Он стоял и слушал, как я унижаюсь, может

быть, даже колебался. Голос его прозвучал не слишком уверенно:

— Туда надо ехать утром и не со мной, а с милицией. А тебе сейчас надо идти домой. И пусть твой отец сообщит о несчастье Наткиным родителям. Сама не звони. Ты в таком состоянии, что наговоришь лишнего.

«Что-то моя жизнь началась не так, — подумала я тогда, — все люди до конца дней вспоминают свою первую любовь. Мне нечего будет вспомнить. Был разумный мальчик с сутулой спиной. Когда он однажды столкнулся с чужой бедой, то дал толковый совет, что делать. А сам повернулся и понес свою сутулую спину в белой рубашке к подъезду своего дома».

Я все-таки пригрозила ему вслед:

— Ты еще вспомнишь, Карцев, наш разговор. У тебя будет хороший случай его вспомнить.

Он не оглянулся, только на ходу дернул плечом, будто стряхнул с себя мои слова.

* * *

Было начало одиннадцатого, когда я вышла из автобуса и свернула на темную улицу, ведущую к озеру. Фонарей здесь не было, только светились окна домов. У калитки крайнего дома сидела большая собака и подозрительно молчала. Если бы она бросилась ко мне, залаяла, я бы цыкнула на нее, и мы бы поняли друг друга. Но когда собака сидит и молча смотрит тебе в спину — это опасно. Я свернула во двор второго от края дома и пошла

по песчаной дорожке к крыльцу. Во дворе на веревке сохло детское белье. Я успокоилась: в доме есть ребенок, значит, ничего плохого со мной не случится.

Время шло к ночи, улица тянулась в темноте глухая и зловещая. На этой улице даже днем совершаются преступления. А меня несло в эту темноту, и остановить было некому.

Окно, в котором горел свет, оказалось открытым. Я подошла и крикнула:

— Можно кого-нибудь?

В комнате появилась молодая женщина с ребенком на руках. Была она растрепанная, босая, ребенок на ее руках кряхтел и всхлипывал.

— Я разыскиваю Федора Никонова. Он живет на этой улице...

— Он здесь живет, — прервала меня женщина.

— Можно войти?

— Входи.

Я знала, что люди живут по-разному. Не у всех в доме горячая вода, не у всех хорошая мебель. Но что бывает такое запустение в доме, я не подозревала. Клеенка на столе лежала стертая до дыр, стулья рассохлись, будто их выловили после кораблекрушения, даже в детской кроватке не было наволочки на подушке. Мальчик, стонавший на руках у женщины, затих, уставился на меня серыми грустными глазами.

— Тетя.

Я спросила у матери:

— Сколько ему?

— Два года, — женщина села на стул, освобо-

дила руку и откинула со лба спутанные пряди волос, — уже ходил и говорил почти все, а теперь опять не ходит.

— Болеет?

— Болеет. — Она глядела на меня безучастно, словно ей было совсем неинтересно, зачем я пожаловала.

— Федор Никонов ваш муж?

— Муж.

— Он где сейчас?

— Не знаю.

Я уже собралась сказать ей: «Ваш муж бандит и хулиган» — и рассказать про Натку, про то, что случилось сегодня днем на этой улице, но женщина опередила меня:

— Мне соседки говорили. В милицию надо заявить. Только милиция его знает. Ты вот сидишь, а он придет и тебе, и мне даст. Пьющий он.

Я глядела на нее, слушала ее не злой, не добрый, а какой-то неживой голос, и мурашки ползли у меня по спине. Живем в одном городе, а будто на разных планетах. Мы у себя там уроки учим, в кино бегаем, по улице Вольской фланируем, а она на своей планете с ребенком больным, с этим пьяным выродком под одной крышей.

— Сколько вам лет?

— Да уже двадцать второй...

Я думала, старше она.

— Вы еще молодая. Зачем же с ним живете?

Ответила она странно, я ее не поняла:

— Свой он. А свой — не чужой. Законов на своих нету.

Я глянула на часы, уже было половина двенадцатого.

— Я вас провожу, — сказала женщина, — а то темно и еще с ним, не дай бог, встретитесь.

Она завернула мальчика в одеяло, взяла на руки и пошла со мной к автобусной остановке.

— Хоть бы скорей эту улицу снесли, — сказала она мне по дороге, — потому и терплю, что квартиру дадут заместо этого проклятого дома. А там я свою жизнь найду. И на него закон найду. Потому и терплю, что дом этот его, и руки мои ребенком связаны, и специальности нет. Тебе сколько лет?

— Шестнадцать.

— Не выходи замуж. Глупость это — замуж. И дети — одно страдание.

— Но не у всех же так. Есть и счастливые.

— Нету, — сказала она, — нету счастливых. У каждого своя беда, и каждый ее от других прячет.

У меня кружилась голова и не было сил с ней спорить, а тут на шоссе показался автобус. Мы попрощались, и я спросила уже из двери автобуса:

— Как вас зовут?

— Люся, — ответила она, — а сына Вовик.

* * *

К дому своему я подходила со страхом. Была уверена, что мама стоит на балконе, а папа — внизу, у подъезда. Я еще в автобусе представила себе эту картину и стала готовить речь в свое оп-

равдание: «Во-первых, выслушайте меня, не перебивая. Во-вторых, давайте сразу договоримся, что я уже взрослый человек и полностью отвечаю за свои поступки...»

Папы у подъезда не было. Я глянула вверх — балкон был пуст. Но свет горел, значит, они не спали.

— Наконец-то, — сказала мама, открывая мне дверь, — я не буду тебя упрекать, но, когда у тебя будут собственные дети, ты меня поймешь...

— Во-первых, выслушайте меня, не перебивая, — начала я, но они мне сразу спутали все карты.

— Мы более-менее в курсе событий, — сказал папа.

— Звонил твой одноклассник Карцев, — добавила мама. — Очень беспокоился, что тебя нет дома...

— Давайте сразу договоримся, — мне все же хотелось произнести свою речь, которую приготовила в автобусе, — давайте договоримся, что я уже взрослый человек и полностью отвечаю за свои поступки.

— Вот и отвечай, — потребовал папа, — почему вместо того, чтобы вспомнить о нас и о Наташиной маме, ты поехала творить самосуд на какую-то улицу?

— Карцев — подонок, — ответила я, качаясь от голода и усталости, — я не знаю, зачем поехала туда. Но зато я знаю, почему он не поехал со мной. Когда у него будут дети, они будут такие же благоразумные подонки, как их отец. А мои дети

будут совершать неправильные поступки. Это будут очень хорошие дети.

— Иди поешь, — сказал папа, — а то ты уже заговариваешься.

Я села за стол, взяла в руку вилку, ткнула ее в котлету и затряслась от слез. Я чувствовала их вкус во рту, когда жевала котлету.

— Не трогай ее, — сказал папа.

Но мама была мама. Она села рядом со мной и тоже зашмыгала носом.

— Все уладится, — говорила она, — папа сздил с Наташиной мамой в больницу. У нее сотрясение, но не очень сильное. Через три недели ее выпишут. Завтра ты отнесешь ей ягоды и передашь записку.

— Какую записку?

— Ты напишешь ей записку, что она поправится, и вы опять будете дружить, как прежде, и забудете этот страшный день, и все будет как было.

Мама, моя мама. Так, как было, уже никогда не будет. Даже если бы мы очень захотели — не получится. Уже есть в нашей жизни Федька Никонов и его несчастливая жена Люся с сыном Вовиком.

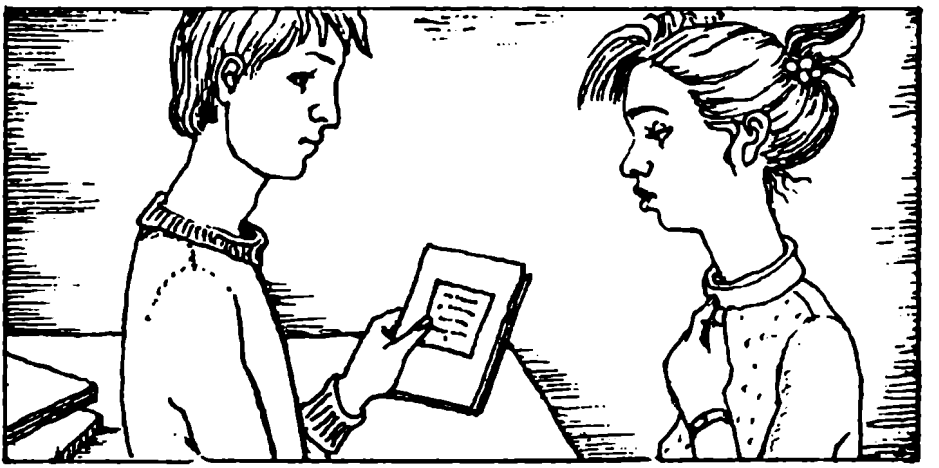
Я точно знала, что Федька Никонов мой враг, знала и кто мой друг. Знала и то, что нам с Наткой никогда не забыть того, что случилось на дороге, когда мы шли с озера.

Хорошее озеро, без волн, широкое и доброе. Кусочек природы, который создали люди там, где хотели.

Я не буду больше спорить с Наткой. Я теперь

знаю точно: природу надо спасать. И не только ту, которая вокруг нас. Но и ту, что внутри человека.

...Утром я пошла к Натке в больницу. К ней меня не пустили. Я передала ей два красных помидора, пакет ягод и записку: «Тут, в приемном покое, вертятся будущие старые друзья. На всякий случай знай: друзей не бывает старых и новых. Есть просто друзья, и с ними надо дружить. И есть враги — с ними надо воевать. А кто не враг и не друг — тот Игорь Карцев. И ты, пожалуйста, не спорь со мной, Натка».



ОСЛОЖНЕНИЕ НА СЕРДЦЕ

В этом году Гуркин опять подошел первого сентября к нашей классной Катерине и попросил, чтобы его посадили со мной. Катерина рада. Еще бы! Я буду влиять на него, помогать, вытягивать. Как будто можно повлиять на Гуркина или помочь чем-нибудь.

— Да если он избавится от своих двоек и словечек, — говорит моя подруга Степанчикова, — то сразу лишится своей индивидуальности. Это уже будет не Гуркин, а пятно от него, отпечаток.

Иногда мы с ней спорим.

— Индивидуальность Гуркина не в словечках и тем более не в двойках, — утверждаю я.

— А в чем? В том, что к нему загар прилипает круглый год и он похож на индейца?

— На какого еще индейца? Есть в нем нечто такое-этакое, ты сама знаешь это не хуже меня.

— Дружеское плечо в трудную минуту? — Степанчикова не скрывает язвительности.

— Может быть, и плечо.

— Да ну тебя, — фыркает Степанчикова, — перестань нагораживать.

Первого сентября Гуркин неотразим: в белой рубашке, подстрижен, на левом запястье — браслет из кожаных разноцветных шнурочков. Но пройдет два-три дня, и он уже будет похож на самого себя: напялит свой зеленый балахон по имени «свитер», и сколько ни будет ему доказывать Катерина, что в школу надо приходить в пиджаке, от Гуркина все это как от стенки горох.

У нас с ним каждый учебный год начинается одинаково.

Гуркин садится за парту и снисходительно спрашивает:

— Ну что? Продолжим наши игры?

«Игры» — это списывание и подсказки. Я обязана ему подсказывать — тут разработана целая система, списывает же он на контрольных по своей методике: берет у меня черновик, зачем-то перечеркивает его крест-накрест и переписывает.

Но в этом году на его вопрос я ответила сурово и определенно:

— Никаких игр. С этим — не ко мне.

— К кому же?

— К Зайцевой.

— Ого! — Гуркин, похоже, остался очень доволен.

Приложил палец к губам и подмигнул. Это означало: потише, пожалуйста, услышит.

Зайцева сидит впереди нас, ее затылок передо мной, а перед Гуркиным затылок Степанчиковой.

Зайцева ничего не слышит: ни учителей, ни наших с Гуркиным голосов сзади. Даже когда ее вызывают к доске, раза два или три повторяют ее фамилию.

— Она не слышит, — говорю я Гуркину, — заморочена своей красотой и ничего не слышит.

— Нехорошо, — Гуркин улыбается, — я понимаю — зависть, но все-таки одноклассница.

Степанчикова слышит все, но в разговоры с нами на уроках не ввязывается. На перемене она подходит к Гуркину и говорит ему что-нибудь поучающее. Однажды подошла и сказала:

— Кончатся ваши разговоры тем, что Катерина отсадит тебя от Иванниковой.

Вот тогда Гуркин и родил эту дурацкую фразу:

— Тебя это жует?

Степанчикова не растерялась:

— Жует.

— Ничего, — успокоил ее Гуркин. — Пожует-пожует да и выплюнет.

С тех пор и пошло: «Тебя это жует?» Если скажешь, что не жует, то последует: «Вот видишь, не жует, а ты дергаешься». И не подходи ни к кому с вопросами, Гуркин всех избавил от умственной работы.

Однажды я подсунула этот вопрос маме. Она в очередной раз пыталась внушить мне что-то про жизнь, про коллектив, в котором не стоит пробавляться чужим умом, хоть и есть для этого условия.

— Тебя это жует? — спросила я.

Мама не нашлась так быстро, как Степанчи-

кова. Она довольно долго молчала и, чувствуя подвох, неуверенно ответила:

— Допустим, жует.

— Ничего, пожует-пожует да и выплюнет.

Если б она только видела, какое у нее стало лицо. Конечно, ей хотелось стукнуть меня, только она не знала, как это делается. Пошла на кухню и там дала себе волю:

— «Их надо уважать, не унижать!» Но кого уважать? Обезьян, попугаев? Ведь ты же не сама придумала это «пожует-пожует да и выплюнет»! И джинсы носишь совсем не потому, что кривые ноги и хорошо бы их прикрыть. Ноги, слава богу, стройные. А потому, что в вашем девятом кто не в джинсах, тот не человек! Оттого вы и третируете свою бедную Катерину, что она не в джинсах, а в нормальном человеческом платье.

Когда мама умолкла, я вошла в кухню и сказала:

— Запомни: ты своего добилась, с этой минуты я не буду идти на поводу у коллектива. Но и у тебя тоже идти не буду. В джинсах у нас никто на уроки не ходит, в том числе и я. Про «пожует-пожует» придумал твой любимый Гуркин. А насчет Катерины, то в природе нет джинсов такого размера, которые бы на нее налезли. И вообще, что за манера: то «тыквочка моя с хвостиком», «доченька любимая», то «попугай», «обезьяна» — запутала вконец!

Мама пришла в себя, и напрасно мне показалось, что последнее слово осталось за мной.

— Я действительно тебя очень люблю, — сказала она погасшим голосом, — и когда ты запле-

таешь косичку, то очень похожа на тыквочку с хвостиком. И я кричала не на тебя, а на весь твой девятый класс. Разве я против джинсов, разве я не понимаю, какая это удобная, практичная одежда? Меня убивает другое: никто из вас не пришел в ужас от их цены. Никто не содрогнулся, что натянул на себя месячную зарплату отца или матери.

— Может быть, Гуркин вовремя содрогнулся — у него нет джинсов.

— Про Гуркина ничего сказать не могу, — маме уже хочется говорить весело, но я такую веселость в ней не люблю. — Гуркин ведь как четвертый член нашей семьи. Некоторые учатся заочно, а Гуркин заочно у нас проживает.

Папа, когда разговоры о Гуркине возникают при нем, говорит: «Хочу быть Гуркиным! Хочу быть молодым, красивым, независимым и чтобы все девчонки в классе были в меня влюблены».

Он никогда не вникает, хватает на лету что-нибудь из наших с мамой разговоров и добивается своего: все недостатки Гуркина оборачиваются его достоинствами, а я выгляжу чем-то вроде бедной Лизы.

— Страдай, терпи, перевоспитывай Гуркина, — говорит папа, — только никаких прудов. Во-первых, ты наша единственная дочь, во-вторых, много чести даже для Гуркина.

Рита Степанчикова уверяет, что моя мама тайком почитывает педагогическую литературу, от того у нее такой повышенный интерес к делам нашего класса, и еще эта навязчивая идея, будто с дочерью надо дружить.

— Мне больше нравится мой вариант, — говорит Рита. — Мама знает свое, отец — свое, а

я — свое. Никаких дискуссий по поводу Гуркина. Они и не догадываются о его существовании.

Я не люблю, когда Рита вот так говорит о моей мамс, и отвечаю:

— Родителей, между прочим, не только не выбирают, но и не осуждают.

— А кто осуждаст? Ты сама виновата, что каждый чих в нашем классс становится известен у тебя дома. Еще хорошо, что твоя мать не дружит с Катериной. Представляешь, кем бы ты выглядела в этой ситуации?

— Кем?

— Доносчицей.

Ритка любит перебарщивать. Катерина не нуждается в подобной информации. Она вообще все, что ей надо, знает сама, живет, как однажды выразился Гуркин, «хоть и не очень выдающимся, но своим умом». Из всех учителей Гуркин добр только к Катерине, хотя именно к нему она цепляется без конца. На перемене он прячется за наши спины, завидев идущую по коридору Катерину. Она идет, и ученики младших классов умолкают и провожают ее взглядами — такая она большая, толстая, с яркими голубыми глазами. Ей лет сорок, может, чуть больше, она не молодится, носит кофты-самовязки и туфли на низких каблуках со шнурочками. Новые ученики принимают ее за хозяйственную единицу в школе, подходят и спрашивают, где буфет, не украдут ли на вешалке куртку, поскольку гардеробщицы нет, а дверь рядом нараспашку. Катерина не догадывается, почему именно к ней эти вопросы, и все больше утверждается в своем заблуждении, что она не про-

сто преподаватель химии, а учительница-мать, этакая хранительница школьного очага.

Химию свою она преподает спокойно и толково, двойки ставит редко. Если пообещаешь остаться после уроков, чтобы выучить и ответить ей, поставит точку. «Двойку нельзя исправить, — поучающе говорит Катерина, — двойка в журнале — это не гвоздь в стене. Гвоздь можно выдернуть, а двойка будет торчать в журнале до скончания века. Мне нужна не двойка в журнале, а чтобы ты знал этот урок; поэтому ставлю тебе точку, после уроков можешь ответить». Но все ее подлинные таланты раскрываются на классных собраниях...

— Вот ты, Иванникова, — это мне, — объясни всем, пожалуйста, сколько ты еще будешь безучастно сидеть за одной партой с человеком, который гибнет?

Класс изнемогает: не смеяться, дабы не сорвать дальнейший спектакль, — пытка.

— Это вы, наверное, про Гуркина? — кротко спрашиваю я...

— Не знаю, не знаю, — Катерина понятия не имеет, что она делает с классом, — подумай, может быть, с тобой сидит кто-нибудь другой?

Я поворачиваю голову, смотрю сверху на макушку Гуркина и жду, когда он включится.

— Екатерина Савельевна, — Гуркин говорит громко и медленно, — вы у Храмова спросите, он знает, а Иванниковой все равно, гибну я или нет.

И Катерина действительно спрашивает у Храмова. Тот поднимается и заявляет:

— Гуркин — лентяй. Он и ходит как лентяй: выкидывает ноги так, будто они ему не нужны.

Класс грохочет, всех прорвало. Катерина, ничего не понимая, сначала улыбается, потом тоже смеется. Мне становится стыдно. Махнув на Храмова, чтобы тот смолк, я поднимаюсь и говорю:

— Екатерина Савельевна, плюньте вы на Гуркина и на всех нас! После шести уроков мы уже не люди. Надо только послушать, как мы смеемся, и все становится ясным.

Класс гудит:

— Что она промычала?

— Иванникова, может, водички?

Катерина бьет ладонью по столу.

— Иванникова, сядь! Гуркин, сядь! Храмов, почему ты торчишь? Сядь! Тема нашего классного часа: поведение Гуркина, его три двойки во второй четверти, одна из них — по географии, которая войдет в аттестат.

— География или двойка войдет в аттестат? — шепотом спрашивает меня Гуркин.

— Молчи, стилист! Замолкни навеки!

Гуркин пришел к нам в шестом классе. И на второй или на третий день оповестил всех, что влюбился в меня. При этом он выламывался, паясничал, написал на доске «Иванникова + Гуркин = ?» Но никто и глазом не повел, настолько все это было глупо. В шестом классе мы вообще были другими: умней и серьезней. Мы знали, что, если у человека настоящее чувство, он не будет как дурак писать об этом на классной доске. И мама моя, когда я

ей сообщила, что Гуркин влюбился в меня, сказала замечательную фразу: «Это его личное дело».

Но потом все-таки захотела на него взглянуть. И Гуркин вместе с другими ребятами был приглашен на мой день рождения. Он пришел и принес в подарок книгу с библиотечным штампом.

— Она же из библиотеки?! — не удержалась мама.

— Ага, — ответил Гуркин, — когда ваша дочь ее прочитает, то пусть туда отнесет.

Утром мама сказала:

— Очень интересный мальчик, этот Гуркин, если только не хитрец. Жаль, что учится плохо. А что, если тебе не изображать из себя Джульетту, а взять над ним шефство?

И я превратилась в наставника Гуркина.

Мать его смотрела на меня как на человеческое совершенство: обмахивала тряпкой стул, на который мне предстояло сесть. Во время наших занятий приносила мне стакан компота или молока и говорила: «Попей, деточка». Гуркин дома тоже относился ко мне с почтением и очень стеснялся, когда мы с ним занимались английским. Если не получалось с произношением иностранных слов, он краснел, надувал щеки и выдыхал вверх, от чего челка у него расходилась веером. Видимо, эти занятия и убили его любовь ко мне. Или я, почувствовав власть над ним, вконец зарвалась и опротивела ему, но только однажды на перемене он вдруг снова стал кривляться и паясничать и вывел на доске: «Иванникова + Гуркин = отрава жизни».

Это был удар, я даже маме ничего не сказала. Гуркин по-прежнему сидел со мной на одной

парте, но теперь это был чужой Гуркин, глядевший на меня равнодушными глазами. В восьмом классе он влюбился в новенькую Зайцеву, тоненькую, красивую, такое же молчаливое у доски созданис, как и он сам. Только молчание у них было разное: у Гуркина — дескать, «навязались вы на мою голову», а у Зайцевой — «пропадаю во цвете своей неземной красоты».

Катерина время от времени вспоминает короткий золотой период в школьной жизни Гуркина и говорит: «Иванникова, помнишь, как ты его подтянула в шестом классе? А ссйчас? Ведь он гибнет! Из девятого класса в этом году ему не вылезти». В подобные минуты так и подмывает ее спросить: «Вас это жует?» Так, ради словца, потому что всем известно, что Катерину это жует, она даже перед Зайцевой заискивает, надеется через нее подобрать ключ к Гуркину. Но Зайцева — невеста, ей бы до выпускного вечера добраться да замуж выйти, ей и со словарем не разобраться, что такое «шефство». Она хлопает своими длинными ресницами и загадочно улыбается Катерине:

— Ну что мне, за руку, что ли, тянуть его на дополнительные занятия?

— Ладно, — вздыхает Катерина, — сама хоть не пропускай. — И я слышу в ее вздохе тоску: Гуркин — родной урод в своей семье, а ты зачем под выпускной занавес явилась со своими двойками?

Рита Степанчикова была счастлива, когда Гуркин переключился на Зайцеву.

— А то мне казалось, что у вас что-то такое продолжается с шестого класса, — сказала она, — знаешь, такая любовь-война.

— Сама придумала, — охладила я се, — или пробавляешься цитатами из своей тетрадки?

Тетрадка Степанчиковой общеизвестна: мудрые мысли, афоризмы, кто, что и когда сказал. Начинается тетрадка с известного афоризма: «Человек — это звучит гордо» (Сатин). Фамилия в скобках пугает меня.

— Ритуля, нельзя быть такой буквоедкой, — умоляю я, — это уже не цитата, а крылатые слова, и они принадлежат Горькому.

— Сатин тоже принадлежит Горькому, — сражает меня своей железной логикой Степанчикова, — и Горький любил его, сочувствовал, ведь это не вина Сатина, что он докатился до ночлежки.

Мне не хочется спорить со Степанчиковой, то, что она вписала в свою тетрадку, обсуждению не подлежит. Но мне надоело быть на поводу то у мамы, то у класса, не говоря уже о классиках литературы, и я говорю:

— Все равно эти слова лучше бы сказать другому герою. Это было бы справедливей.

— У тебя претензии к Горькому?

— Представь себе!

— Ну, знаешь! — Рита задохнулась от возмущения. — Ты так докатишься. Между прочим, это все влияние Гуркина.

Рите главное — найти виноватого, но я не поддаюсь.

— Степанчикова, — говорю я значительно, — а ведь Гуркин тоже докатился до своей ночлежки. В десятый ему не перейти. А он человек и мог бы звучать гордо.

Рита хмурится: двойки Гуркина ее мало вол-

нуют, но ей кажется, что я продолжаю подкапываться под ее тетрадку.

— А он и будет звучать гордо, — говорит она, и лицо ее становится злым, — раз останется на второй год, два останется, а потом его в армию призовут. Там его научат ходить по-человечески и соскребут исключительность.

— Ладно! — Я прощаюсь со Степанчиковой: — Пока, до лучших встреч!

Дома говорю маме:

— Может, я влюблена в Гуркина? Все из рук валится, так его жалко.

— Жалость унижает человека, — отвечает мама почти цитатой из Риткиной тетрадки, — неужели нельзя ему помочь? В шестом классе у тебя это получалось.

— Теперь другие времена, — говорю я, — и мы другие, и Гуркин другой.

— Надоело! — вдруг кричит мама. — Надоело твое нытье! «Другие времена»! Во все времена хватало нытиков, моральных иждивенцев. Вот когда жизнь тебя клюнет, тогда узнаешь, что такое нытье по Гуркину, а что такое настоящая беда.

— Скорей бы уж клюнула.

Мама пугается и оглядывается по сторонам:

— Типун тебе на язык!

Они обе — и Степанчикова и мама — раздавили меня. Ночью мне приснился сон: пришел маленький человечек, ростом с трехлетнего ребенка, в полушубочке, подпоясанный красным шнурочком, встал возле моей кровати и смотрит на меня. А я знаю, что он мне снится, и не боюсь его, только жду, что он скажет. Но он молчит, тогда я говорю:

«Уходи. Все равно ты не настоящий». Он покачал головой, вроде как постыдил меня, и ушел под кровать. Утром я все свои сны забываю в одну секунду, а этот запомнился, я даже под кровать заглянула.

В школу идти не хотелось, ноги и те протестовали: не шла, а едва тащилась, и конечно же для полного комплекта радостей по дороге встретилась Зайцева: сиреневая шапочка, сиреневый шарфик, перчаточки, глазки, носик. Ничтожество!

— Ты зарисовала контурную карту? А я нигде не смогла ее купить. Это же глупость — давать задание по контурной карте, которую нельзя нигде достать.

Чик-чирик, чирик-чик-чик.

— Мне папа купил карту по знакомству, — басом сказала я.

Зайцева хихикнула, «по знакомству» на ее уровне — юмор. Надо было ее опустить на серьезную почву.

— Шапочку и шарфик сама вязала?

— Сама, — обрадовалась Зайцева. — Если есть шерсть, я и тебе могу связать.

Не хватало еще подачек от этой возлюбленной!

— Нету у меня шерсти, и вообще у меня, Зайцева, ничего нет. Ни доброты, ни ума, ни внешности.

Она остановилась, сочувственно взяла меня за локоть и проникновенно сказала:

— Ну что ты...

Я не стала ее больше терзать.

— Настроение такое, понимаешь? Половина

уроков не выучена, и есть предчувствие, что, где не выучено, там и спросят.

Вот это она понимала. Взяла меня под руку, так мы и вошли в вестибюль школы к полному изумлению поджидавшей меня Степанчиковой.

На химии Катерина вызвала меня. Я кое-что подчитала на перемене, но бас, который прорезался утром в разговоре с Зайцевой, вдруг опять откуда-то взялся.

— Болит горло? — спросила Катерина.

Я откашлялась и помотала головой: ничего не болит, и тут же поняла, что упустила момент. Надо было сказать, что болит, тогда бы сердобольная Катерина отправила меня на место, а в журнале вместо отметки поставила бы точку. Но я продолжала, сбиваясь, что-то отвечать, потом стала писать на доске формулу, запуталась и путалась довольно долго, пока не услышала за спиной громкий медлительный голос Гуркина:

— А Иванникова-то сегодня не волокет.

И тут что-то рухнуло во мне, на глазах выступили слезы, ничего не сказав Катерине, я пошла, но не к парте, а к двери.

На перемене Степанчикова потащила меня в медпункт.

— Даже если не заболела, надо отметиться. Катерина так этого не оставит. Скажи, пожалуйста, повернулась и ушла с урока! А если каждый вот так повернется и уйдет?

— Ритка, не смеши! У меня действительно болит горло.

Медсестра сунула мне под мышку градусник. Температура была нормальная. Звонок на следую-

щий урок уже прозвенел, и медсестра глядела на нас как на злостных симулянток.

— Дайте что-нибудь от горла, — сказала я, — нельзя же все сводить к температуре.

— От горла лекарств вообще не существует, — медсестра просто убивала нас своими знаниями, — лекарства существуют от болезней.

Можно было бы поставить ее на место: «Неужели? У вас довольно старые сведения», — но не было сил связываться с ней. Я подтолкнула Степанчикову плечом к двери, и мы вышли.

В коридоре была пустыня. Урок уже начался. По расписанию у нас была физкультура, все перекочевали в спортзал, а мы с Ритой вошли в свой класс. Но недолго мы благодушествовали вдвоем. У Катерины было «окно», и она чуть ли не следом пожаловала за нами.

— Прячетесь?

— Ну что вы, Екатерина Савельевна, мы не такие уж недоумки, чтобы прятаться в собственном классе.

Катерина с сожалением посмотрела на меня.

— А Гуркин на физкультуре?

Тут меня дернуло:

— Я ему кто? Нянька, инспектор детской комнаты милиции, гувернантка?

Катерина заткнула уши.

— У меня «окно», я отдыхаю, не трещи.

— Екатерина Савельевна, — пришла мне на помощь Степанчикова, — с Гуркиным надо что-то делать, а то все говорим, говорим...

— Правильно, — обрадовалась Катерина, —

надо делать, а не размахивать руками. А что делать?

— Надо нанять ему репетиторов, — вдруг вылетело из меня, — собрать деньги, нанять двух репетиторов — по математике и английскому — и закончить все разговоры.

Катерина задумалась.

— Деньги можно не собирать, — неуверенно сказала она. — У нас же есть арбузные деньги.

Мы уж и забыли про эти деньги. И не знали, что у них название «арбузные». Это после седьмого мы заработали. Списались с семиклассниками одной станицы Краснодарского края, те и пригласили на уборку арбузов. Арбузы к нашему приезду не поспели, мы дергали сорняки на свекольном поле, жили в школьном лагере труда и отдыха, играли в волейбол, купались. И труда и отдыха хватало, да еще и кормили нас там, как у родной бабушки: оладьями, сметаной, в которой ложка стоит, кубанским борщом. Я и теперь, когда хочу вспомнить что-нибудь хорошее, закрою глаза и вижу: большое-большое, розовое-розовое дерево, ветки гнутся от черешен. Пробыли мы там месяц, вернулись, и уже в восьмом классе, зимой, вдруг приходит денежный перевод.

— Но мы же собирались на Валдай, — сказала Катерине Рита, — прошлым летом не получилось, может, будущим?..

— Да, да, — вспомнила я, — эти деньги уже, можно сказать, потрачены.

— Ничего не «можно сказать», — возразила Катерина, — поделите эти деньги на всех — на билет в один конец не хватит.

— Но ведь есть еще и школьный фонд, — ска-

зала Рита, — вы забыли. Директор обещала добавить, ну и каждому еще придется рублей по двести доложить.

При слове «директор» Катерина нахмурилась, а я с удивлением посмотрела на Ритку: откуда у нее такие сведения?

— Предлагаю всем помолчать, — сказала Катерина, «всем» — это мне и Ритке. — Мы говорим не про Валдай, а про Гуркина. Сейчас вы обе пойдете к директору, и вот ты, — она показала на меня, — все толково расскажешь. Скажешь, что это твоя идея, есть деньги, нужны репетиторы и так далее.

Мы с Ритой пожали плечами и отправились в директорский кабинет.

Директор очень любезно встретила нас, усадила на диван, не спросила, почему мы не на уроке, а очень мягко и задушевно сказала:

— Ну, слушаю вас, мои дорогие.

И от того, что я не стояла перед ней навытяжку, весь мой рассказ прозвучал складно и убедительно, я даже под конец ввернула про «жуст».

— Короче говоря, Софья Артуровна, плачевное положение Гуркина нас очень «жуст».

Она и глазом не моргнула, поднялась из-за своего стола и подошла к нам.

— У откровенности есть право на такую же откровенность. И вот что я вам скажу: если что-то больше всего меня печалит в нашем сегодняшнем школьном существовании, то именно вот это стороннее, за плату, неизвестно откуда взявшееся репетиторство.

— Оно взялось известно откуда, — сказала я, — из дореволюционного прошлого.

Директор внимательно на меня поглядела.

— Оно взялось, — ей не понравились мои слова, — из тех современных семей, в которых безгранично уверовали в силу денег. За знания сердобольные и чадолюбивые родители нашли кому платить, только вот за воспитание собственных детей заплатить некому.

— Но мы же не родители, — сказала я. — Мы школьники. И мы хотим помочь своему товарищу. За свои деньги. Тут есть все-таки разница.

— Нет тут никакой разницы, — ответила директор, — вы тоже схватились за самое легкое.

— А больше не за что. Вы не знаете Гуркина. Он и от репетиторов спокойно сможет сбежать.

— Я знаю Гуркина, — сказала директор, — но я не знаю, можно ли оплачивать классу репетиторов. Нет никакой инструкции по такому случаю. Соберите-ка собрание, обсудите и решайте всем классом.

Она нам все-таки не очень доверяла. Когда мы уходили, сказала вдогонку:

— Только на этом собрании не должно быть самого Гуркина.

Ночью на меня свалилось дерево с тяжелыми ветвями розовой черешни. Я опять знала, что это сон, что где-то рядом Катерина, Гуркин и Степанчикова, и надо их дозваться, потому что хоть и во сне, но задавить насмерть это дерево меня вполне может. Потом, когда мне полегчало и я очнулась, был уже день, и мама спросила, почему я звала Катерину, Гуркина, Риту, а не ее? Я понимала, о чем она спрашивает, но ответить не могла, опять на меня стало валиться дерево, и я потеряла сознание.

Болела я долго. Температура поднималась за

сорок. Однажды, когда я очнулась, то увидела медсестру из школьного медпункта, она плакала и обвиняла себя, что просмотрела начало болезни, кто бы вообще мог подумать, что в таком возрасте — и дифтерит, да еще возвратная форма.

Телефон мама закрывала в шкафу на ключ, когда уходила на работу. Папе выдавался ключ со строгим наказом — не давать его мне. Когда же она оставалась со мной, то вообще не открывала шкаф, даже когда телефон звонил.

— Ты должна сейчас думать, что у тебя нет никакой школы, никаких забот, — говорила мама, — все потом уладится, все нагонишь, а теперь думай о чем-нибудь хорошем.

Я улыбалась, потому что самым хорошим воспоминанием совсем недавно было розовое дерево, которое меня чуть не задавило насмерть.

— Улыбайся, — говорила мама, — улыбайся, моя тыквочка с хвостиком.

Как-то вечером мама сказала:

— Недели две назад приходил Гуркин. Я ему говорю: «Передай на словах или напиши записку, к ней нельзя, инфекционная болезнь».

— А он что?

— Ничего, потоптался и ушел.

* * *

Целый месяц меня не было в школе. Только в конце февраля я вошла в свой класс. Кто-то радостно пискнул: «Смотрите!», но писк этот сразу оборвался, его заглушила тишина. Гуркина в классе не было, Рита Степанчикова что-то искала в

портфеле. Я прошла к своему месту, бросила портфель на парту и положила руку на плечо своей подруге Рите:

— Где Гуркин, Степанчикова?

Рита дернула плечом, хотела стряхнуть мою руку.

— Почему я должна знать, где он?

— А кто знает?

Тут в класс вошла Катерина. Я не слышала звонка и сразу получила замечание:

— Иванникова, убери руку. Что ты вцепилась в Степанчикову?

— Я не вцепилась, Екатерина Савельевна, у меня вопрос. Где Гуркин?

— Гуркин ушел из школы, — сказала Катерина, — ушел сам, никто его не принуждал. — И без всякой паузы: — Я прошу класс проявить сознательность и заботу к Иванниковой, на переменах не устраивать сквозняков, помочь ей наверстать упущенное в учебной программе. — И опять без паузы: — Храмов, к доске.

После звонка я пошла следом за ней. У двери учительской Катерина обернулась и сказала:

— Не рви мне сердце.

— Я все знаю, — сказала я, — было классное собрание. И кто-то на него явился из начальства и объяснил, что класс должен сам помочь Гуркину.

— Никто не являлся, — перебила Катерина, — твоя подруга Степанчикова лучше всех объяснила. Класс пошел у нее на поводу.

Что-то не то говорила Катерина, не могла Степанчикова сбить с панталыку весь класс.

— Класс не корова и не лошадь, как это он пошел у нее на поводу?

— Очень просто, — сказала Катерина, — Степанчикова объяснила: можно деньги выбросить на ветер, то есть на Гуркина, или поехать всем классом на Валдай.

— И они проголосовали за Валдай? Подняли руки, и ни одна из них не дрогнула?

— Никто ничего не поднимал, — сказала Катерина, — голосовали тайно. Раздали бумажки. Каждый должен был поставить знак — плюс или минус. Был только один плюс.

Я глянула в лицо Катерине и впервые поняла, что такое каменное лицо.

— Вот и все, — сказала Катерина, — и больше не рви мне сердце.

«Это мне нельзя рвать сердце, — могла бы сказать я, — это мне после болезни грозит осложнение», но сказала другое:

— Я тоже уйду от вас.

— От меня? — спросила Катерина.

— От всех. Чей же это был тот единственный плюс?

Зазвенел звонок, и Катерина не ответила, вошла в учительскую. А я пошла к двери своего класса. Учитель истории, чей урок сейчас должен был быть, никогда не торопился в класс вместе со звонком. У меня было несколько минут, и я подошла к учительскому столу.

— Степанчикова, — сказала я, — выйди к доске!

Ритка послала мне испуганный взгляд, но не двинулась с места.

— Зайцева, — продолжала я, — ты тоже выйди.

И Зайцева не шевельнулась.

— Человек не всегда звучит гордо, — сказала я, — иногда он звучит с большим вопросительным знаком. Но я не о вас, я о Гуркине. Я знаю, кто тот единственный, кто проголосовал за него. Я знаю даже больше: вы бы все сейчас за него проголосовали. Потому что вы все равно никогда не поедете на Валдай. Там ведь из-за каждого куста будет глядеть на вас Гуркин. И вообще к тому времени, когда настанет лето, вас эта история до того изжует, что каждому можно будет опасаться осложнения на сердце. А Гуркин всю жизнь будет хохотать над вашими минусами. А Зайцева получит аттестат, выйдет замуж и всю жизнь будет вспоминать свой плюс как золотую медаль...

— Уж, замуж, невтерпеж! — крикнул кто-то с задней парты, кажется, Храмов.

И надо же, чтобы на этой реплике в класс вошел историк.

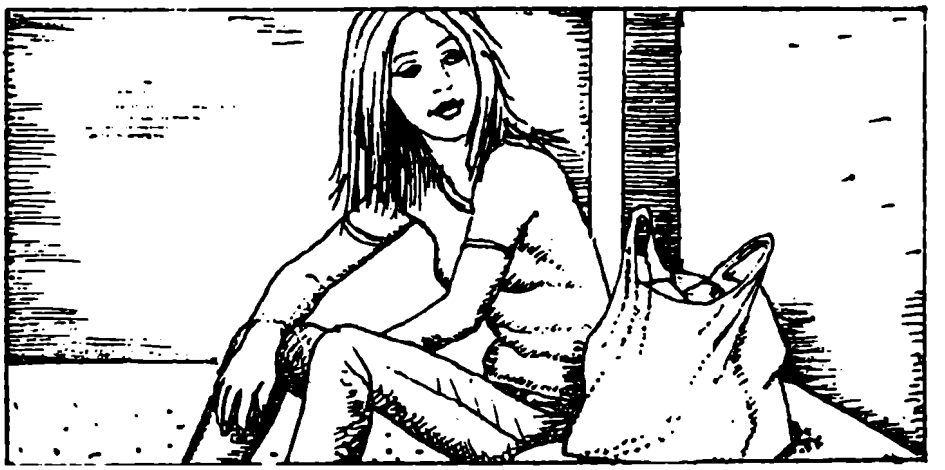
— Кто тут собрался замуж? — спросил он и с удивлением поглядел на меня у стола. — Иванникова, вы уже здоровы?

— Да.

— Тогда, раз вы уже вышли к доске, может, будете отвечать урок?

— Буду.

Я поглядела вперед и увидела благодарные глаза Зайцевой. Наверное, она, как всегда, не знала урока, и я ее выручила.



ПОЦЕЛУЙ ЭТУ ЛЯГУШКУ

Машина, заскрежетав, затормозила возле меня. Я отскочила на середину тротуара и прибавила шагу.

— Аня, куда же ты? Подожди! Ведь ты же Аня?

Я оглянулась: что-то знакомое, где-то я видела этого мужчину. По телевизору? Но тогда откуда он знает мое имя? Удивительно, сколько мыслей может пронестись в голове за несколько секунд. Я даже успела подумать: а вдруг это кинорежиссер? Выследил и вот настиг, сейчас предложит роль. Что это какой-нибудь бандит, из тех, что заманивают в машины доверчивых дурочек, это не пришло мне в голову, хотя и должно бы. Он вышел из машины, догнал меня и схватил за плечо. Благообразный господин в белой нарядной куртке, в руке большая шелковая сумка с лицом кудрявой красавицы. Сумка раздута от свертков и

пакетов, и от этого лицо красотки все в буграх и шишках.

— Аня, неужели не узнаешь? Я — Сергей Петрович, — сказал он.

Я вспомнила, расслабилась и не заметила, как сумка оказалась в моей руке.

— Аня, значит, такой уговор, — сказал Сергей Петрович, — все это отдашь Мите. Ты когда его видела?

— Вчера.

— У него все в порядке?

— Он женился.

Я не знала, что такое в общем-то радостное известие может так больно ударить человека. Он побледнел, глаза остановились. Я стала его успокаивать:

— Напрасно вы так расстроились. Институт он не бросит, она тоже студентка, они с одного курса.

Он не слышал меня.

— Значит, Митя женился... Вот уж чего не ожидал. Вот так история — женился.

— Вы давно не виделись? — спросила я.

— Семь лет.

Правильно — семь лет. Я тогда была во втором классе, Митя в седьмом. Тогда еще была жива его бабушка Ольга Спиридоновна. Именно она положила конец этой душераздирающей истории, которая будоражила весь наш подъезд.

Сергей Петрович ушел из семьи, когда Мите было четыре года. Он ушел, конечно, от Митиной матери, а не от сына. Митю он хотел любить по-прежнему, водить его в цирк, в разные музеи, в

общем, хотел, чтобы ребенок не замечал своей безотцовщины. Меня тогда еще на свете не было. Мама говорит, что меня вообще могло не быть из-за этого Сергея Петровича. Она тогда решила, что у нее никогда не будет детей. Зачем? Чтобы потом их родной отец так обошелся с ними?

Сергей Петрович обидел своего Митю по-страшному. Целый год после своего ухода он окутывал сына любовью и заботой. Часто приезжал, увозил мальчика в парк или кукольный театр, резвился с ним во дворе. Соседи глядели на них из окон печальными глазами. Они полагали, что если человек хороший, то он даже в самой трудной ситуации остается хорошим. Они не знали, что ничего нет такого в природе, что остается неизменным. Даже любовь. Она или строится, или рушится. Сергей Петрович тоже, видимо, этого не знал. И даже когда стал приезжать редко и встречи его с Митей стали короче, не заметил, как рушится их связь. Он появлялся редко, а Митя ждал его каждый день с утра до вечера. Во дворе не гулял, а подходил к тому месту, где отец ставил машину, и стоял там столбиком. Ему казалось, что отец, проезжая мимо, заметит его и завернет. Однажды какой-то первоклассник крикнул ему во дворе:

— Дурачок, никто к тебе не приедет — твой отец пасет овец!

Митя набросился на него с кулаками.

Отец появлялся все реже и реже, а исчез навсегда, когда Митя был уже в седьмом классе.

— Как ее зовут? Митину жену? — спросил Сергей Петрович. Он уже пришел в себя после потрясения.

— Ее зовут заурядно — Маша. Он зовет ее Манечкой.

Что-то, видимо, в моем голосе выдало меня, потому что Сергей Петрович сказал:

— Ты ее не любишь. Чем же она тебе не нравится?

— Митя мне тоже не нравится. Мне вообще такие люди не нравятся.

— Какие «такие»? — И поднес руку с часами к глазам: дал понять, что долго говорить со мной не намерен. Мой ответ его не интересовал.

И ладно. Мне тоже говорить с ним не о чем. Я уже настрадалась в своей жизни от его сыночка и с меня хватит. Конечно, это было большой глупостью с моей стороны — влюбиться в пятилетнем возрасте в своего соседа-третьеклассника. Но если такое случилось, неужели надо за это дразнить, пинать и всячески уничтожать бедного ребенка? А Митя меня не просто за мою любовь возненавидел, он словно вымещал на мне какую-то тайную свою обиду. Когда я пошла в первый класс, он был уже в пятом. Если мы случайно сталкивались с ним на перемене, он обязательно орал во все горло какую-нибудь дразнилку. Однажды иду по школьному коридору, а он стоит со своими одноклассниками. И я слышу: «Вот что, Колька, ты проиграл мне пари, так давай исполняй мой приказ. Подойди, — он протянул руку в мою сторону, — и поцелуй эту лягушку». Я, конечно, бросилась от них со всех ног. И в тот день разлюбила Митю. Он тут же превратился в заурядного урода — сутулого, ушастого, с противным рыжим пухом на голове.

Сергей Петрович спросил:

— Я могу оставить тебе свои координаты?

Я кивнула, и он протянул мне визитку.

— Буду ждать твоего звонка. Звони домой, в контору по любому из этих телефонов.

И уехал на своей сверкающей, как стальной клинок, машине. А я, прихрамывая, так тяжела была эта сумка, поплелась к своему дому.

Наш дом старинный, кирпичный, в четыре этажа, стоит посреди двора. В нем высокие лестничные пролеты и никакого лифта. На мое счастье на первом этаже живет Нефертити, так за глаза когда-то прозвали старенькую Софью Федоровну из-за ее странного места рождения. Говорят, что в паспорте в графе «место рождения» у нее написано: Египет.

Не Каир, не какой-нибудь другой город, а именно Египет. Словно она родилась прямо в песках среди пирамид. В нашем дворе Нефертити считали странной, оторванной от жизни. Говорили: «Она живет в прошлом веке».

А в каком еще веке может жить человек, который шьет корсеты?

Она действительно шила корсеты. Сначала в ателье, потом, когда вышла на пенсию, дома. Если кто-нибудь на современный манер пытался называть ее изделия грацией, Нефертити уточняла: «Может быть, я кому-нибудь и сошью грацию, но вас спасет только корсет». Попасть в число ее заказчиц было не просто. Мама моя ждала целый год. И когда она пришла к нам, чтобы снять мерку, мама так была рада, что усадила ее пить чай, а

мсня отправила на кухню. Там я сидела и читала книгу. Уходя, Нефертити заглянула ко мне.

— Что ты читаешь? — спросила она.

Это была какая-то шпионская повесть, и я ответила:

— Так, чепуха — бульварная литература.

Нефертити подняла свои нарисованные на лбу брови.

— Ты не считаешь, что бульварную литературу лучше читать не на кухне, а на бульваре?

Я засмеялась, и она вслед за мной.

— Мы обе любим смеяться, — сказала она, — а это означает, что мы похожи.

Так мы познакомились. Я стала приходить к ней. Она рассказывала мне о Жорже, одиноком, очень добром старом человеке. Он парикмахер, в прошлом очень известный мастер дамских причесок. Сейчас он приходит только к Нефертити, стрижет ее, красит волосы, иногда сооружает на ее голове замысловатую прическу. Она благодарна ему. Говорит: «Больше всего мне не хотелось бы выглядеть в мои годы лахудрой».

Недавно я пришла к ней, и она мне сказала:

— Аня, сегодня я освободилась от своих цепей. Мое дело выскользнуло у меня из рук, как живая рыба.

Я не сразу поняла, о чем она. Оказалось, что это корсеты покинули ее. Она не сможет их больше шить. Глаза перестали видеть ушко в иголке, руки слушаться. Неужели это происходит в один какой-то момент? Я спросила об этом, и она ответила, что с ней именно так и произошло — мгновенно.

— Но я не так проста, какой кажусь, — стала она меня успокаивать, — я начну новую жизнь. Ведь над этими корсетами я всю жизнь просидела согнувшись. Теперь распрямлюсь.

Она не очень распрямилась, но все же обновила свою жизнь. Стала ездить на трамвае до конечной остановки «Березовая роща», гуляла там, даже завела в этом пригородном лесопарке друзей. Пригрела бездомного кота Васю и очень обижается, когда соседи называют его Васькой. «Какой же он Васька? Он сплошное достоинство». И Жорж стал появляться у нее чаще.

Когда я с сумкой в руке предстала перед ней, она сразу стала жаловаться на него:

— Видишь, как Жорж подстриг меня? Если бы я на его уровне продолжала шить корсеты, меня бы побили палками.

Прекрасно он ее подстриг, только почему-то на этот раз сделал рыжей.

— Как тебе этот цвет?

— Замечательный: веселый, солнечный, очень вам идет.

— Я в этом не сомневалась. Но стрижка! Он обкорнал меня, как овцу.

— Сейчас такая мода, называется — «я одна в шалаше».

— Дивное название. Глупей не придумаешь. Кому нужен рай в шалаше на голове у старухи?

Она рада мне. На сумку бросает заинтересованный взгляд. Я в общих чертах рассказываю, откуда сумка, кому предназначена.

Когда-то мы с ней говорили о Мите, об его отце, матери. Нефертити тогда сказала:

— Если бы меня муж бросил с ребенком, то этот ребенок вырос бы и убил его.

— Но его бы посадили за это в тюрьму.

— Никогда, — торжественно заявила Нефертити, — нет такого закона, который наказывает за возмездие.

Видимо, из-за своих корсетов она недобрала самых элементарных знаний. Возмездие! Я уже в шестом классе знала, что это самосуд. А Нефертити этого не знала и знать не хотела. Как и того, что из чужой сумки ничего брать нельзя, даже если богатство в ней не считано.

Сумка пищала и разрывалась от обилия красочных банок, коробочек, всевозможных деликатесов, закатанных в целлофан. Лицо кудрявой красотки на шелковой ткани корчилось от всех этих даров. А на столе у Нефертити, как всегда, только сахарница и овсяное печенье.

— Мы возьмем сейчас в сумке розовую рыбку, — сказала она и направилась в коридор, — надо же и нам когда-нибудь съесть что-нибудь замечательное.

Я остолбенела: ничего себе поворот.

— Софья Федоровна, это невозможно, — ринулась я за ней, — я отвечаю за эту сумку, к ней нельзя прикасаться. Неужели вы этого не понимаете?

Она смотрела на меня свысока. Голос прозвучал надменно:

— Я все понимаю, милочка, настолько все понимаю, что самой от этого противно. Ты должна поверить мне: я в своей жизни чужой горелой

спички не присвоила. Но из этой сумки я возьму розовую рыбку.

Мне бы схватить эту сумку и бежать отсюда, но вместо этого я спросила:

— Тогда, может быть, вы сами и передадите сумку Мите?

Мое предложение она отвергла:

— Нет, это сделаешь ты. Но перед этим мы съедим розовую рыбку.

И мы ее съели.

Я поднималась на свой четвертый этаж с чувством утопленницы.

Человек знал, что в реке омут, но прыгнул и вот лежит на дне с ужасом в открытых глазах. Наверняка ни Митя, ни его Манечка не заметят отсутствие розовой рыбки, но мне-то замечать нечего, я это просто знаю. И еще знаю, что самое опасное — один раз переступить, а потом уж пойдет и пойдет. Ну и Нефертити. Чужой горелой спички она, видите ли, в жизни не присвоила. А зачем ее присваивать, горелую?

Был единственный выход — позвонить сейчас в митину дверь и сказать: «Спустись на первый этаж в третью квартиру, там тебя ожидает сюрприз». Но скорей всего дверь откроет его мать и начнет мне выматывать душу: «Зачем тебе Митя? Он женился и теперь всегда занят. Скажи, что тебе надо, я ему передам». По любому поводу она мне сообщает, что Митя женился. Как-нибудь я ей скажу: «Это не новость. Вот когда он разведется, будет что-нибудь новенькое». Они там все, и жена Манечка, считают, что до сих пор эта ля-

гушка-квакушка влюблена в их драгоценное ничтожество.

Наша семья переутомленная. «Я устал». «Как я устала». С раннего детства надо мной витают эти слова. Когда я постигла, что они означают, то сразу взяла их на вооружение. Очень удобно: что ты такая скучная? — устала; у тебя неприятности? — ну вот еще, просто устала. Послушать нас, так можно подумать, что все мы только что поднялись из шахты или вернулись с лесозаготовок. На самом же деле мы просто скучная, переутомленная однообразной жизнью семья. Грех так говорить о своих близких, но что делать, если это правда. Иногда мне кажется, что все мы друг друга бросили, как когда-то Сергей Петрович своего Митю. Главная забота мамы, чтобы в доме было чисто и тихо, а я, не отрываясь от стола, все делала и делала бы уроки. Папа же озабочен только тем, чтобы его никто не тревожил, — газеты, футбол по телевизору, надо же человеку отдохнуть после работы.

Но тишина и покой требуют изредка какого-то восполнения. И мы восполняем: ссоримся бурно, бьем друг друга злыми словами. Самые злые летят в мою сторону. Мама плачет: я расту пустоглазой, без всяких талантов и цели. Я пробавляюсь в школе постыдными тройками, у меня ужасное будущее и, значит, все ее материнские труды коту под хвост. Папа добавляет: «Пусть она скажет, чего ей не хватает!» Я могла бы ему ответить, чего мне не хватает — наконец-то отдохнувшего отца. Чтобы он хоть раз в жизни сказал: «Слушай, Анька, пошли побродим по городу». Это ведь так

здорово: походить, поглазеть на людей, поговорить о чем-нибудь неожиданном. Я же не зарываюсь, не мечтаю об электричках, лыжах, кострах на берегу. Но у них перед глазами только мои тройки. И я кричу в ответ: «Тройка — нормальная отметка! Что толку от ваших пятерок, если вы их действительно когда-нибудь получали! Никакой радости ни вам, ни мне!»

Потом мне, конечно, стыдно. Разве у меня плохие родители? Разве я не знаю, какие бывают отцы? Только в нашем классе несколько отцов законченные алкоголики. Разве их дети мечтают о каких-то походах? Они были бы счастливы, если бы их отцы всего лишь перестали пить.

После ссоры у нас мир и благодать. Все переполнены виной и любовью друг к другу. В доме пахнет пирогом или оладьями. Мама достает тетрадку, в которую когда-то записывала мои детские высказывания, читает их, мы смеется, потом играем в лото. И так продолжается довольно долго. Я расслабляюсь, начинаю откровенничать с мамой: рассказываю ей о Нефертити, или что-нибудь из тех времен, когда была влюблена в Митю, или о своей подруге Кларе. И получаю от нее за это в один из вечеров по полной программе. Нефертити — законченная мещанка, ни в какого Митю я не была влюблена, все это глупость, вздор, а Клара тянет меня назад: если у меня тройки случаются, то у нее они — высшая отметка.

Утром по дороге в школу я думаю о Мите. Он никогда не убьет своего отца. И никогда не бросит Манечку. Когда у них родится ребенок, Митя сразу станет веселым, добрым, забудет свои дет-

скис обиды и даже простит своего отца. Но я его никогда не прощу, ту «лягушку» буду помнить, наверное, и в старости.

На уроке я шепчу Кларе о вчерашних событиях, о своей встрече с Митиным отцом. Математичка подлавливает меня на самом драматическом месте, когда мы с Нефертити поедаем розовую рыбку.

«Новикова, что такое предел?»

Сначала вопрос кажется мне издевательским. Терпение у математички лопнуло, и она таким вот образом сообщает мне об этом. Но Клара листает учебник, пытается мне что-то подсказать, и я прихожу в себя.

«Предел, — отвечаю, — это такая постоянная величина, которую никогда не может достичь величина переменная, как бы ей этого ни хотелось. В общем, разность между пределом и переменной величиной будет всегда меньше любой, даже наперед заданной величины, как бы мала она ни была».

Математичка сражена. Я и сама удивлена, что все это всплыло в моей памяти.

«Вот видишь, — говорит она, — хоть и своими словами, но все правильно».

Ее скупая похвала возносит меня до небес, и я бросаюсь в рассуждения:

— А вот в жизни почему-то предел — величина досягаемая. То и дело слышишь, что кто-то дошел до предела и даже перешагнул его...

— Об этом поговоришь на уроке литературы, — останавливает меня математичка, — садись, Новикова, три.

— Доумничалась? — спрашивает Клара.

А я другой отметки и не ждала. Не надо мне ни четверок, ни пятерок по этому бесчувственному предмету. Предела, видите ли, не существует. Тогда зачем эта переменная величина, как дурочка, стремится к нему? Что это вообще такое — стремиться к тому, чего нет?

На перемене Клара говорит мне:

— Как это можно было оставить у какой-то Нефертити сумку? Да они с Жоржем уже прикончили ее. И тебя еще угораздило с этой розовой рыбкой. Ну зачем ты ее ела?

Я молчу. Клара продолжает возмущаться:

— Рыбки ей чужой захотелось! У тебя что на шее — голова или кочан капусты?

На шее у меня что-то вроде чердака, по которому гуляет ветер. Ну зачем я на самом деле связалась с этой сумкой? Митя когда-нибудь встретится с отцом. «Как тебе понравилась розовая рыбка?» — спросит Сергей Петрович. «А там никакой такой рыбки не было», — ответит Митя. В глазах темнело, земля под ногами качалась от всего этого.

— Клара, — говорю, — может, ты сходишь со мной за сумкой? Что-то мне кажется, что одна я не выберусь из этой истории.

— Выберешься, — отвечает Клара, — а со мной еще больше запутаешься и не извлечешь никакого урока.

Клара умнеет на глазах: «Не извлечешь никакого урока». Да сыта я вашими уроками, дышать уже нечем.

— Ну и правильно, — отвечаю, — вот когда

я буду тонуть, ты вытащишь меня или вынесешь из горящего дома. А плестись куда-то за какой-то сумкой — это разве подвиг?

— Обижайся, сколько влезет, — Клара стоит на своем, — и больше не нагружай ни себя, ни меня разными глупостями.

На дверях Нефертити серебрится металлическая тройка. Впервые я гляжу на эту цифру как на знак собственной посредственности. Кот Вася, вошедший вместе со мной в подъезд, поднимает голову и смотрит на меня изумрудными глазами. За дверью голоса, я различаю смех и кашель Жоржа. Ну все: прощай, Митина сумка. Там, за дверью, ее уже приканчивают, пир в разгаре.

Дверь мне открыла Нефертити. Я вошла и уставилась на сумку. Никто к ней не прикасался, лицо кудрявой красавицы было в тех же буграх и шишках. А на столе в комнате все та же сахарница и овсяное печенье. Я подошла к столу и опустилась перед Жоржем на колени. Не знаю, как это получилось. Может быть, силы покинули меня, и я рухнула?

— Что это значит, — спросила Нефертити, — ты перепутала Жоржа с римским папой?

Я поднялась, лицо мое пылало.

— Никаких вопросов, — сказал ей Жорж, — лучше поставь чайник, этот уже остыл.

Если бы они знали, как я была перед ними виновата, как любила их в этот час, старенького Жоржа и рыжую, веселую мою Нефертити. Кто бы удержался от вопросов, когда перед ним бухаются на колени? Только эти великие люди.

Нефертити наливает мне чай, и на ее руках

бренчат серебряные браслеты. Натруженные работой руки, корсеты уже выскользнули из них, как живая рыба, но много чего в этих руках еще осталось.

— Знаешь, Аня, — говорит она, — на карнавал в Рио-де-Жанейро я бы уже не поехала, но в охотничьем домике где-нибудь на берегу озера с удовольствием бы пожила. Хотя, поверь мне, и дома жизнь прекрасна.

Жорж посмеивается, это такой мужской, снисходительный смех. Спрашивает:

— А на свою родину, в Египет, ты не хотела бы съездить?

Нефертити отмахивается от него обеими руками.

— Не слушай его, Аня. Никто не родился в Египте. Это так переврали в метриках городок, в котором я родилась. А уж из метрик пошло во все другие документы.

— Но тебе нравится, что в паспорте Египет, — никак не отвяжется от нее Жорж, — это сближает тебя с фараонами.

— Подумаешь, фараоны, — отвечает Нефертити, — ничего особенного, обыкновенные цари. Забинтовали их, сохранили, а зачем? Все равно им уже не гулять по своему Египту.

Любой пятиклассник знает про фараонов раз в десять больше, чем они. Ну и что? Есть и другие знания. Например, какие корсеты носили женщины из нашего дома в конце двадцатого века, какие смешные ошибки случались в метриках, с какими тяжелыми сумками подходили к своим бывшим домам беглые отцы.

Я иду в коридор, где в углу морщится кудрявая

красавица. Запускаю руку в сумку и вытаскиваю коробку конфет. Сквозь прозрачную крышку просвечиваст шоколадное чудо.

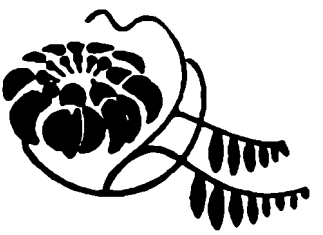
— Ты уверена, что мы не грабим Митю? — спрашивает Нефертити.

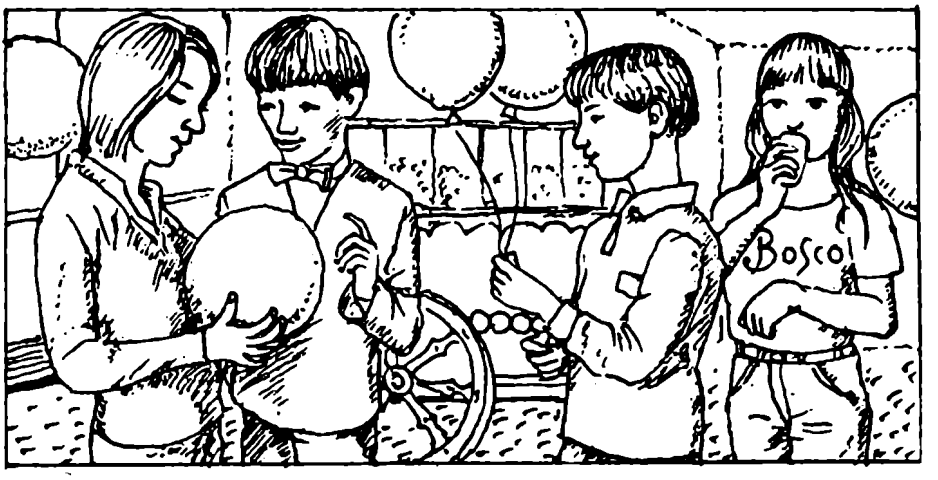
Я уверена, что не грабим. Того, что осталось в сумке, Мите больше чем достаточно для горьких воспоминаний. И вообще мне кажется, что Митя не примет это подношение. Иначе Сергей Петрович сам бы вручил его Мите. Говорю:

— Этими конфетами угощаю вас я. Митя, возможно, будет недоволен, но он не в счет. Однажды он перешагнул предел: предложил своему товарищу поцеловать лягушку. А сегодня это сделала я. Предел иногда надо перешагивать, хотя наука утверждает, что это невозможно. Я хотела сегодня во всем этом разобраться, но схлопотала, как обычно, за свое умничанье тройку...

— Что она несет? Я ничего не понимаю, — перебивает меня Нефертити.

— А зачем все понимать? — говорит ей Жорж. — Не надо все понимать, надо оставлять кое-что непонятым. Тогда интересно жить, тогда сама жизнь постепенно отвечает на все вопросы, — он переводит свой взгляд на меня, — пей чай, девочка. У чая такое свойство — если его не пьют, он становится холодным.





БАЛ В МУЗЕЕ

Я не знаю, как образовалась эта Школа искусств и кто ее так назвал. Матери и бабушки тащат сюда своих малышей с разных концов города. В холода дети похожи на кочаны капусты — столько на них намотано, только глаза выглядывают из шарфов, ясные и безвинные. Вешалка не работает. Взрослые раздевают детей и потом сидят с их барахлом три часа, почти половину короткого зимнего дня. Но это долгое сидение им не в тягость. Они не бездельничают — это вахта. Они несут ее стойко, как часовые на вратах рая. Там, куда их не впускают, происходит нечто замечательное. Там без всякого их вмешательства, только за деньги, детей готовят к счастливой жизни. Там таинственный храм искусств: рисование, танцы, пение, теннис, ну и, конечно, английский язык. Особенно всех восхищает теннис. К чему оно все остальное приложится, если человек не играет в теннис?

Я изредка заглядываю в теннисный зал. Дети, как щенята, возятся на полу, ракетки валяются где попало. Тренер Юра лежит на длинной низкой скамейке и спит.

«Юра, — говорю я, — подъем! Ты что себе позволяешь?»

Он открывает глаза.

«Не уходи. Поговори со мной».

Юра в годах, ему, пожалуй, уже тридцать, но послушать его — мальчишка. Придумал какую-то ерунду, что был разведчиком, работал в дальних странах, провалился, его должны были пустить в расход, но в последний момент помиловали. Всякий раз, как он видит меня, вспоминает какую-то Риту.

«Как я ее любил, как любил! Ты очень на нее похожа».

«А где она сейчас?»

Юра оглядывается по сторонам, дети уже не возятся, лежат на полу, как маленькие марафонцы, не дотянувшие до финиша.

«Ты думай, когда спрашиваешь, — говорит Юра, — ее нет. Ее больше нет».

«Умерла?»

«Она была радисткой. Ее ликвидировали».

О Господи, я постоянно забываю, что он был разведчиком.

«Юра, может быть, я и похожа на Риту, но и ты кое на кого похож. На халтурщика. Почему ты спишь, а не работаешь с детьми?»

Юра не обижается. Он без этих комплексов,

мол, не твое это дело и не лезь, куда тебя не просят.

«Я этим детям, — говорит он, — отец, мать и родная бабушка. Пусть полежат, отдохнут после всего того, что вы с ними выделываете».

Мы «выделываем» по программе. У нас никакой отсебятины, все по утвержденному плану. Мы с Вероникой — руководители младшей танцевальной группы. Вероника носится по залу, отдавая всю себя работе, а я бренчу на пианино.

Вероника не любит меня, все время дергается, срывается, я ее раздражаю. Но мы считаемся подругами, всегда и всюду вместе. Когда-то Вероника училась в балетном училище, но была отчислена, как говорит, «за чересчур красивые ноги». Ноги у нее скорей всего оказались чересчур толстыми, но Вероника живет в своем, придуманном мире и возражать ей бесполезно. О балетном училище она вспоминает так: «Жаль, конечно, что вылетела. Примы бы из меня не получилось, постояла бы до тридцати пяти «у озера» — и на пенсию. Разве плохо?» Это «озеро» смешит меня до слез, я представляю, как она стоит на сцене возле этого «Лебединого озера» и мается от неподвижности.

Дети ее обожают. «Попов и Преображенская, — объявляет Вероника, — вы сегодня будете ведущей парой». И надо видеть в это время пятилетнего увальня Попова и юркую, с лисьим личиком Преображенскую. Ни одна награда в будущей жизни не наполнит их таким торжеством и счастьем, как это посвящение в «ведущую пару». Дети у нас еще не уставшие, мы идем вторым номером после английского языка, и они послушны,

все быстро усваивают. Смущают меня только солисты. Они образовались у нас недавно и разрушили всю нашу незатейливую танцевальную жизнь. Наши малыши-солисты будут участвовать в общешкольной феерии-сюите «Бал в музее». Готовится нечто грандиозное с хлопушками, фейерверком, дорогими костюмами. Режиссер-постановщик, приглашенный со стороны, мечется между старшими группами и нашей, говорит Веронике: «Главное, добивайтесь от них изящества». Вероника старается, но с изяществом плохо. Дети еще очень малы, растяпистые, несобранные, пухлые, как оладушки. Я поглядываю на них из своего угла и кричу Веронике: «Так нельзя! Неужели тебе не понятно, что так нельзя?» Вероника не понимает: «Не мешай. Почему это нельзя, если надо?»

После занятий я пытаюсь ей объяснить, что это никому не надо. Дети должны танцевать как дети и нечего им раньше времени входить в образы взрослых. Вероника морщится:

«Так и будем о них говорить до скончания века? Мой рабочий день закончен».

Ей хочется поговорить о Юре. Она влюблена в него. Он в ее глазах настоящий бывший разведчик, сильная личность. Возможно, он и ей говорил, что она похожа на Риту. Впрочем, все это чепуха: никакой Риты не было и нет. И Вероника вряд ли влюблена в Юру. Многим людям кажется, что жизнь их чересчур заурядная, вот они и украшают ее выдумками. Веронике мало Юры, она мне еще рассказывает про свой телефонный роман с человеком, которого никогда не видела. Вот тут уж она дает волю своему вранью: говорит ему, что

сей двадцать пять лет и у нее трос детей. Дети — проверка на человечность и стойкость влюбленного абонента. Он ее выдержал. Он якобы сказал Веронике: «Мы с тобой эту цифру, как минимум, удвоим». Вероника пересказывает мне телефонные разговоры и злится, что я не втягиваюсь в эту белиберду, обзывает меня деревяшкой, пухлой девицей с портретов Боровиковского. Походя уничтожает и этих девиц — ханжи, тупицы, лентяйки. У нее дефицит уважения к людям, только Игоря Николаевича, руководителя нашей изостудии, она слегка уважает или побаивается. Он замкнут, высокомерен и красив. На педагогических совещаниях не дает никому расслабиться: смотрит на всех прищурившись, поправляет ударения в словах, перебивает выступающих:

«Зачем столько слов, если сказать нечего?»

Лицо Начальницы покрывается пятнами. Она монументальная, в шелках и дорогих украшениях, как оперная певица. Ей очень подходит «директриса», но мы зовем ее Начальницей.

«Извольте объясниться, — рычит она на Игоря Николаевича».

«Объяснюсь, — невозмутимо отвечает он, — тем более что это несложно. Личность нельзя собрать, как блок, на конвейере. А мы перебрасываем детей из рук в руки, как детали, язык, танцы, спорт, рисование — и это еще не все. Я уже давно предлагаю поломать этот конвейер. Ну почему нельзя один день занятий посвятить только танцам, а другой целиком спорту?»

Каждый раз Начальница объясняет ему, поче-

му нельзя, и все ему объясняют, но он, как всегда, ничего усвоить не может.

Я на его стороне, хотя и с возражениями согласна. Занятия в нашей школе не каждый день и если следовать его словам, то наши танцы и английский и все другое будут раз в месяц.

«Он за это и борется, — говорит мне Вероника, — это его идеал — встречаться с детьми как можно реже. Мерзавец он все-таки. Нельзя свой интерес прикрывать заботой о детях».

Я не возражаю. Вероника не знаст о моих чувствах и мне надо держаться. Я влюбилась в Игоря Николаевича в ту минуту, как его увидела. Вполне возможно, что Лермонтов писал своего Печорина с себя, но получился вылитый руководитель нашей изостудии. Представляю, сколько сердец он погубил. Верней, они сами разбились, налетев на эту ледяную скалу. Я страшусь его, но все-таки, уняв сердцебиение, захожу в мастерскую, где рисуют дети. Прихожу вроде бы передохнуть, посмотреть рисунки. Игорь Николаевич относится к моему появлению спокойно: продолжает рисовать те же горшки и гипсовые головы, что рисуют старшие дети в его группе. Иногда о чем-нибудь меня спрашивает. Однажды спросил:

«Знаешь, как звали волхвов?»

Я не поняла, о чем это он, не вспомнила, что за волхвы.

«У них были прекрасные имена, — сказал Игорь Николаевич, — Балтазар, Мельхиор и Каспар».

Я унесла эти имена, как великую загадку. Что

он этим хотел сказать? Почему эти смешные имена прекрасны?

«Знаешь, как зовут твоих сыновей? — сказала я Веронике, когда она опять завела речь о своем телефонном возлюбленном, — Балтазар, Мельхиор и Каспар».

Вероника хихикнула.

«Он почему-то не спрашивает, как их зовут. Что бы это значило? Наверное, он воспринимает меня абстрактно, не видит во мне живого человека».

«Зачем тебе этот таинственный тип, если ты влюблена в Юру?»

«Они дополняют друг друга, — отвечает Вероника, — Юра ждет, когда я приду в спортзал и отдамся ему, а телефонный поклонник довольствуется разговорами».

«Кончится тем, — объясняю, — что Юра действительно затащит тебя в зал, и ты потом побегаешь за ним, поплачешь».

«Я рожу ребенка, — Вероника испытующе смотрит на меня, глаза у нее зеленые, с большими зрачками, как у речной рыбы, — а что такое, чего ждать? Теперь в двадцать лет уже старые девы».

Ей восемнадцать. Ребенок в ее жизни невозможен. Она живет с теткой, рассеянной и подозрительной особой. Что бы этой тетке ни сказали, она по десять раз переспрашивает и при этом ходит по квартире и вечно что-нибудь ищет. В ее доме всегда чувствуешь себя воровкой. «Вероника, ты не видела мои часы? Они лежали вот здесь, на холодильнике». Мы с Вероникой сидим на кухне, пьем чай, а тетка пыхтит возле нас, ищет эти проклятые часы. Мне надо уходить, но как уйдешь,

сижу. Когда часы наконец найдены, я поднимаюсь и даю себе клятву, что ноги моей больше здесь не будет. Но потом забываю и прихожу опять. И снова тетка кружит по кухне, ищет на этот раз кольцо.

«Вероника, ну зачем ты меня терзаешь? Какой ребенок? Кто тебя с этим ребенком будет кормить? Тетка?»

«А что ты предлагаешь? Сидеть и ждать, когда какой-нибудь плюгавый тип предложит руку и сердце?»

Веронике не нужен ответ, ей надо вывести меня из равновесия. Возжечь пламя, чтобы сыпались искры, но самой при этом вовремя отскочить и стоять в сторонке.

«По-моему у тебя самой виды на Юру, — говорит она, — я же все вижу. Ты скрытная, Танька. Тебе это не идет».

От ее слов хочется взвыть, я не знаю, как мне надо оправдываться и как вообще оправдываются, когда подозревают в любви, которой нет.

«Отстань, — огрызаюсь я, — а Юре, если хочешь знать, никто не нужен. Он любил и будет любить только Риту».

Что я наделала. Выдала чужую тайну. Вероника взяла меня в тиски.

«Что еще за Рита? Говори!»

Но я уже опомнилась.

«Это тайна. И не вздумай о ней спрашивать Юру. Это государственная тайна».

Мама рада, что я работаю в Школе искусств. Это приличное место для девочки, которая закончила музыкальное училище и не попала в консер-

ваторию. Мама ее закончила, и теперь она учительница музыки. У нас дома с утра до вечера терзают «Детский альбом» Чайковского и «Этюды» Черни упитанные девочки с хмурыми личиками. Когда я прихожу с работы, мама кричит мне из комнаты: «Мой руки, иди на кухню и можешь включить радио». У нас однокомнатная квартира. Пока у нас идут уроки, я живу на кухне. Я все понимаю, но иногда мне хочется голодать, ходить в одном и том же платье только бы не слышать эти сбивчивые ритмы, фальшивые ноты, не слышать голоса мамы: «Руки! Локти не вешать, кисть пампушкой!» Ученицы нас кормят и еще из-за них у нас есть связи. Когда я провалилась на приемных экзаменах, эти связи помогли мне попасть в английскую семью. Это была моя первая работа. Должность называлась няня-сторож. Там была еще няня-воспитатель, а я няня-сторож. В мои обязанности входило гулять с детьми во дворе, сторожить их, чтобы они никуда не забрели. Я больше всего боялась, что они попадут под машину. К дому то и дело подъезжали шикарные иномарки, и детей как магнитом притягивало к ним.

Сначала мне казалось, что дети скучают в нашей стране, что в каждой заграничной машине им мерещится что-то родное. Но потом другие няньки-сторожа объяснили мне, что они не скучают даже по родителям. Им бы только вытаращить глаза и куда-нибудь побежать. Бегают, бегают как угорелые, а уж дома по струночке, там не побегаешь, там строго. В доме, в который я попала, строгостей было выше головы. Нянька-воспитатель была шведкой, никогда не улыбалась,

детей отчитывала на своем родном языке. Они ничего не понимали, поворачивали ко мне головы и смотрели с мольбой. Я говорила ей: «Они вас не понимают». Она отвечала на еще худшем, чем мой, английском: «Им не надо ничего понимать, им надо вести себя пристойно».

Работа меня не тяготила. В этом доме я даже кое-что постигла. Можно, оказывается, любить детей и не считать их пупом земли, «нашим будущим», как у нас это принято. Дети — люди, пока еще неумелые, ничего не сделавшие для других, вот и пусть учатся и не обижаются, что с ними строги. Одно мне там мешало — это моя зарплата: один доллар за один час. Платили только за те часы, которые я проводила с детьми во дворе. И я, гуляя с ними, поглядывала на часы: вот один доллар, а вот уже и второй. Шведка иногда говорила, когда я собиралась домой: «Если не спешите, то можете посмотреть видео». Но я в этом доме почему-то даже фильм бесплатно смотреть не могла. Мама давала советы: «Ты побольше разговаривай с детьми, это такая замечательная практика в языке». Но разговор не получался: у девочки менялись передние зубы, она шикала, фыкала, а у ее младшего брата во рту была такая каша, что ни одного слова не разобрать.

Ушла я от них легко, как только подвернулось место в Школе искусств. Мама еще не знает, но в консерваторию я больше поступать не буду. Нет, я не испортила себе руки, бренча полечки и гавоты, что-то произошло с душой. Что-то мучает меня, возмущает, а что — не всегда понимаю.

Вчера неожиданно состоялась генеральная ре-

петиция «Бала в музее». Ничего такого не ожидали, но Вероника пришла и сказала, что объявлена генеральная в костюмах, с аксессуарами — веерами, зонтиками и прочим. Маленьких, глупеньких обрядили в белые парики, платья-кринолины, бархатные камзольчики. Цыплячьи обнаженные плечики выглядывали из кружевных декольте, тонкие в белых чулках ножки мальчиков торчали как картофельные ростки, тянулись из башмаков с большими пряжками. Танец будет изображать ожившие картины, герои выйдут из золоченых рам и станцуют нечто из прошлой жизни. Все эти фрейлины и инфанты — так сказать, классика, но кого нынче удивишь классикой? Поэтому самые ударные танцы будут исполнять герои современных картин. Эти танцоры были особенно жалкими: розовое трико имитировало голое тело, у одной девочки пупок прикрывал похожий на черную редьку пиковый туз, у другой — бубновый. У многих из париков скалились какие-то рожи.

Начальница пришла со свитой. Упитанные молодые спонсоры в красных пиджаках, с бабочками излучали благожелательность. За ними в костюмах, блестя подведенными глазами, выстроились солисты старшей группы. Я со страхом подумала, что не готова к такому завершающему, сведенному воедино прогону танца. Но во мне не нуждались. Из динамика полилась записанная на магнитофон музыка. Моя Вероника вырвалась на середину зала и закружилась, замелькала. «Здесь будут рамы, — выкрикивала она, — здесь — кулисы, здесь — занавес!» В детях уже надобности не

было. Что-то случилось с Вероникой: или нервы не выдержали, или музыка сыграла с ней такую коварную шутку, она уже не просто металась по залу, а танцевала, подпрыгивая, приседая, повторяя все те движения, которым обучала своих малышей. Надо было что-то делать — все глядели на нее с недоумением — я выбежала на середину зала и за руку увела ее.

Бал не получился. Без рам, без декораций вообще было не понять, по какому поводу собрались вместе эти странные персонажи. Старшая группа демонстрировала свои гибкие талии и пестрые костюмы. Наши малыши были поживей, половчей, но путали движения, сбивались с ритма. Одна девочка то и дело сдвигала парик и чесала затылок. Но спонсоры были довольны, улыбались, начальница одобрительно кивала головой.

Потом было обсуждение. Спонсорам объяснили: это не генеральная репетиция, а сплошной экспромт, вы же понимаете, зал — не сцена, дети впервые надели костюмы. Спонсоры по-прежнему благодушно улыбались: понимаем, все понимаем. Когда обсуждение безаварийно завершилось, Игорь Николаевич вдруг выкрикнул из своего угла:

«А вам не кажется, что младшая группа — это аттракцион лилипутов?»

Все повернули к нему головы.

«Вы что-то имеете против лилипутов? — голос Начальницы прозвучал елейно. — Дорогой Игорь Николаевич, лилипуты — те же люди, такие же, как мы. Пора уже это понять. Общество становится умней и гуманней, инвалиды играют в фут-

бол, и все этому только рады, помогают им. И вы не отказываетесь от французской гуаши, когда наши добрые спонсоры презентуют ее вам».

Она долго говорила, в конце своей речи еще раз помянула французскую гуашь и при этом глядела на нас добрейшим, любящим взглядом. И никто потом не сказал, что Игорь Николаевич совсем не хотел унизить лилипутов, он хотел сказать совсем другое. И я помалкивала, сидела, как мышь под веником, переживала за Игоря Николаевича, но вряд ли согласилась бы поменяться с ним местами, принять огонь на себя.

«Что ты так расстроилась, — сказала мне уже на улице Вероника, — ну бал в музее, вечеринка в дурдоме — нам-то что?»

«Нам то, — сказала я, — что всех нас судить надо. Мы уничтожаем недавно родившееся поколение».

«Тебя послушать, так всех этих детей надо завернуть в вату и положить куда-нибудь в тенек. Мы их закаляем, готовим к жизни».

Мы долго спорим, кричим друг на друга. Вероника знает, чем меня побольней стукнуть: «А твой Игорь Николаевич хуже всех. Знаешь, кого он растит в своей изостудии? Укрывателей ворованного». Это мне не по зубам. Какого ворованного, у кого? Может, Вероника имеет в виду французскую гуашь, которую ему дарят спонсоры? Начальница сегодня в своей речи что-то чересчур выразительно эту гуашь вспоминала. Но мне не хочется выяснять, и Веронике тоже надоел наш спор.

«Да ну их всех, — говорит она, — нашли из-за

чего ссориться. У меня такая новость — умрешь не встанешь. Мы наконец-то встретились. Представляешь, пришел на свидание с цветами. Пять прекрасных оранжерейных тюльпанов. И сам красавчик. Ты что так на меня смотришь? Не соображаешь, о ком я говорю?»

На это моего соображения хватает — наконец-то этот телефонный дух материализовался. А почему бы и нет? Мало ли на свете дураков: влюбляются по телефону, женятся с досады или на спор. Но что-то происходит со мной: гляжу в глаза Веронике и улыбаюсь.

«Ты что?» — пугается она.

«Не было никакого свидания, — говорю, — и тюльпанов не было. Когда человек никого не любит, у него ничего не бывает».

«Я люблю Юру», — вдруг говорит Вероника.

«Что ж ты так: любишь одного, а бегаешь на свидание к другому?»

Лицо Вероники гаснет, ее прозрачные глаза с большими зрачками глядят на меня с укором.

«Зараза ты все-таки», — говорит она и уходит.

А я несу свой прожитый день домой, туда, где, прерываясь на неверных нотах, ноет и жалуется старинная французская песенка, где мама из кухни наугад посылает свои команды: «Руки! Кисть — пампушкой, локти не вешать!» Во дворе бегают дети. Совсем как те, английские, лезут к машинам, и мамы, бабушки покрикивают на них. Когда детей учишь чему-нибудь хорошему или опасаешься за их жизнь, можно и прикрикнуть. Музыка — хорошее. Человек должен знать, кто написал оперу «Русалка», и ноты должен знать, и

что такое гамма, диез, бемоль. Для чего? А для всего. Музыка нужна человеку, хоть и не делает его лучше. Я получила музыкальное образование, но это не значит, что я стала добрей и отважней. Я не могу подойти в вестибюле к родителям и сказать: «Учить детей языкам, танцам, теннису — надо. Не так и не здесь. Взгляните на окна, какой за ними белый пушистый снег. Он падает специально для детей, для их коньков, санок и лыж. И он не вечный, растает весной. Ничто на этом свете не бывает дважды, даже снег зимой будет другим. Послушайте, оденьте своих детей, завяжите им шарфы, и мы все выскочим в этот белый снег и будем прыгать, веселиться совершенно бесплатно. Потому что ни за какие деньги нельзя купить радость».

Вид мой пугает маму.

«Что случилась?» — «Просто устала. Была какая-то дурацкая генеральная репетиция. Мне никто не звонил?»

Я почему-то уверена, что звонил Игорь Николаевич.

«Звонил какой-то мужчина, — говорит мама, — оставил свой телефон. Ты знаешь, кто это?»

Бросаюсь к телефону, набираю номер, мужской голос браво отзывается:

«Слушаю вас».

«Игорь Николаевич?»

«Какой еще Игорь Николаевич? Это Юра».

«Ах, Юра... Что случилось, Юра?»

«Это ты объясни, что с тобой случилось. Ты зачем рассказала Веронике про Риту?»

Для одного дня — многовато. Слезы, как у рыжего в цирке, веером брызжут у меня из глаз. Кричу, забыв, что меня слышит мама.

«Что вам всем от меня надо? Я не обязана хранить ваши тайны! Вранье это, выдумки, а не тайны! Ведь не был ты разведчиком, не был. И Риты никакой не было!»

«Была Рита, — отвечает Юра, — и тайны чужие надо хранить, даже если они тебе кажутся выдумкой. Не плачь».

«Тогда почему ты сегодня струсил, почему промолчал? Почему только один Игорь Николаевич подал голос?»

«Начинай с себя, — говорит Юра, — разве ты не молчала?»

«Нет, я с тебя начну. Отвечай, почему ты спишь на работе. Придешь, а ты спишь. У тебя сонная болезнь?»

«У меня двойня, — отвечает Юра, — два мальчика. Ты понятия не имеешь, что такое сразу два грудных ребенка. Не высыпаюсь. И ты уж не будь так строга: я ведь самое большое полчаса позволяю себе вздремнуть. Дети, между прочим, меня не осуждают».

Не сразу, но до меня доходит, что он сказал: он женат, у него дети. А Вероника? Она же не знает об этом. Любит и не знает самого ужасного — он женат. Слезы снова брызжут у меня из глаз, но Юра этого не видит.

«А Игоря Николаевича не вознеси, — говорит он, — вот будет выставка и увидишь, какой замечательно честный твой Игорь Николаевич, каких успехов достигли его молодые дарования. А все

французская гуашь. Пройдется он своей рукой по детским рисункам, подправит, подмалюет и засверкают картинки — глаз не оторвешь».

Не дождавшись ответа, Юра вешает трубку. Но через минуту звонит:

«Давай наш разговор забудем. Особенно про Игоря Николаевича. Ему хуже всех — он же из-за мастерской работает. Талантливый художник, а работать негде».

«Забудем», — отвечаю и плачу уже без слез, одним голосом.

«Перестань, — говорит Юра, — большая уже, Рита никогда не плакала».

Он не говорит, что я похожа на Риту. Наверное, уже не похожа.

Мама ставит передо мной тарелку с манной кашей. Каша в синих разводах от вишневого варенья, которое искристым комочком лежит посередине. «Иди мой руки», — говорит мама. Руки по-прежнему ее главная забота. Она не задает мне вопросов, не вздыхает, не заглядывает в мои заплаканные глаза. Завтра скажет какой-нибудь родительнице со связями: «Танечке надо помочь, что-то ей не очень в этой Школе искусств». Я опережаю ее: «Я не уйду из этой школы, — говорю, — там столько детей и взрослые, как дети, ничего не понимают».

Мама вяло кивает, ей все равно, останусь я или уйду, ее волнует только консерватория. Я должна туда попасть. Без этого ее и моя жизнь не будут жизнью. Когда-то она училась в консерватории, а завершилось все безрадостными детьми, которые наверняка не любят ее и наш дом. У них

болтаются локти и кисти рук не желают быть «пампушками». И только часы, на которых движется минутная стрелка, примиряют их с этой каторгой. Я все это знаю, сама одна из них. Музыке надо учить по-разному: высокоодаренных — строго и даже сурово, всех остальных — без нажима, ласково.

«Мама, зачем взрослые мучают детей? Зачем неспособных терзают музыкой? А глупеньких, безвинных какими-то ужасными танцами?»

«Не говори глупостей. Никто никого не терзает. В старину в дворянских семьях всех обучали музыке, танцам, и никому это не вредило».

«Ты уверена? А вдруг повредило? Вдруг какой-нибудь жених, услышав, как невеста бездарно долбит по клавишам, сбежал перед свадьбой?»

«Ты мне сегодня не нравишься, — мама хмурится, она устала от своих учеников, а тут еще я, — у вас там что-то произошло на работе, но при чем здесь какой-то жених, который сбежал?»

«При том, что родительская любовь — не всегда любовь. Иногда это тиранство».

Мама не привыкла к таким моим заявлениям, она отворачивается, не глядит на меня, но я знаю, что взгляд у нее сейчас разочарованный.

«Если тебе интересно, — говорит она, — то совсем не любовь главное материнское чувство. Когда-нибудь ты поймешь, что главное чувство — страх. Постоянный страх, что с твоим ребенком случится что-нибудь плохое».

Мне бы успокоить ее: не страшись, я постараюсь не пугать тебя, но меня несет в другую сторону, и я говорю другое:

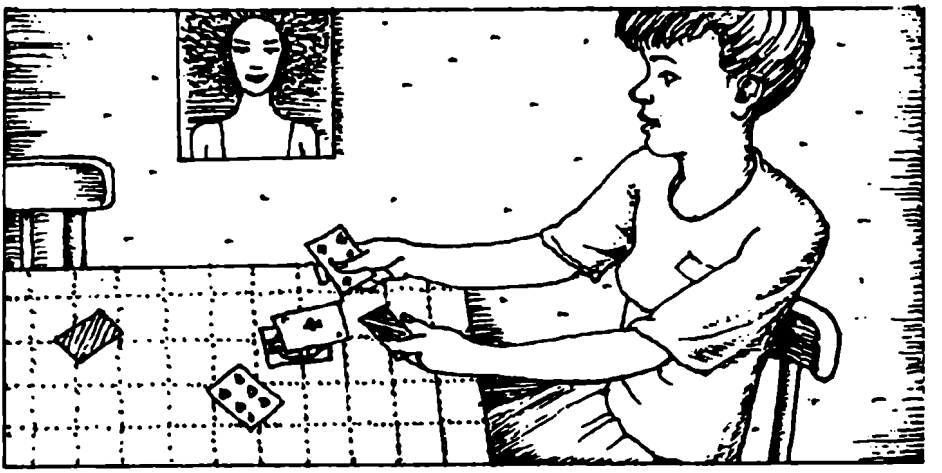
«Это от того, что один ребенок. Одна мать — одно дитя и не на кого отвлечься. У меня будет минимум трое. И никаких девиц. Три мальчика — Балтазар, Мельхиор и Каспар».

«Это не детские имена, — она наконец-то улыбнулась, — ты хоть знаешь чьи? — Мамино лицо оттаивает, глаза оживают, она рассказывает мне историю, как свою полузабытую детскую сказку. Рассказывает о волхвах, о том, как они пришли с драгоценными дарами, а потом спасли божественного младенца. — Это такой вечный символ, — объясняет она, — детей надо одаривать всем самым лучшим и спасать от беды».

Ей тоже всегда хотелось спасти меня. Она и спасала. Как могла, одаривала музыкой, единственной драгоценностью, которая у нее имелась. Но волхвы оставили свои подарки и ушли. А она ждет, когда ее дары зазеленеют, зацветут и принесут плоды. И я говорю ей:

«Не переживай. Никуда уж мне от консерватории не деться».

Это не вранье, это что-то другое. И тем родителям, что сидят в вестибюле Школы искусств, я тоже не могу сказать правду. Они не поверят, они ждут. Ждут от своих детей того же, что и моя мама и все матери на земле — чуда.



ТАКАЯ ДОЛГАЯ ИГРА

Когда, проводив гостей, шли обратно, Томка сказала:

— Мы с тобой одичали. Мы не научены обращению с людьми из мира искусства. Чего в нас нет, так это светскости.

Скажи, пожалуйста, какие знания, какая эрудиция! Впрочем, в пятнадцать лет человек знает все. Это такие крепенькие, остренькие знания, как гвоздики, — взял и вбил. Томка постоянно вбивала их в меня, не подозревая, что причиняет боль.

— Ну для чего ты бегала в магазин, — говорила она в этот раз, — зачем надо было заваливать стол этими дурацкими пирожными и апельсинами? А кофе не купила. Ты должна была сообразить, что это не друзья твоего детства ввалились, а люди искусства.

Очень уж она меня образовывала, но всякому терпению приходит конец.

— Сначала узнай, что такое «люди искусства», а потом уж объясняй, как с ними надо обращаться. Марина и этот Фил — просто начинающие неудачники.

Вот так-то лучше. Томкино лицо вытянулось, в глазах заметался вопрос, ей очень хотелось узнать, выдумала я неудачников или это действительно так. А мне надо было оградить ее от Фила, выдернуть его из Томкиного сердца. У нас уже была в наличии первая любовь — Веня Сидоренко из параллельного восьмого класса, — и взрослый Фил в своей замшевой курточке без подкладки, благоухающий каким-то огуречным лосьоном, не требовался. Я не стала гадать, Филимон он, Филарет или Филипп в паспорте.

— У него лицо, — сказала я, — не мужественное, бабье...

— Что ты! — перебила меня Томка, и в голосе ее было слышно страдание. — Он просто устал. Они по ночам репетируют внеплановый спектакль. Чем популярнее театр, тем сильней в нем дух премьерства, тем трудней пробиться молодым.

Много же он успел ей поведать.

— Какой он молодой?— сказала я. — Разве ты его считаешь молодым?

— Ему двадцать семь лет, — подтвердила Томка и вздохнула.

Я знала, что такое двадцать семь против пятнадцати.

— В этом возрасте, — добивала я свою дочь, — у многих дети ходят в школу. Он женат?

Томка смутилась:

— Я не знаю.

— Наверное, не женат, — сказала я, — иначе зачем ему ходить по гостям с такой красавицей, как Марина? А ты сразу завладела вниманием Фила, не подумала о том, каково это будет Марине.

Томкино лицо стало испуганным:

— Она страдала?

Нет, она не страдала. Томка в ее глазах не была и не могла быть соперницей. Она и меня успокоила: «Фил в своем репертуаре. Очаровывать — это у него форма существования». — «В моей молодости, — сказала я, — таких называли охмурялами». Марина вежливо улыбнулась: «Да, да». Моя молодость для нее была за далекими лесами и морями. Марина ее представить не могла. Хотя именно она была свидетельницей моей молодости и самой жестокой ошибки. И вот зачем-то я вытащила Марину из своего прошлого, призвала на свою голову, словно опять вызывала беду. Разве не беда этот Фил, которого она привела с собой и о котором думает сейчас моя Томка?

— Она не страдала, — ответила я Томке на ее вопрос, — она была удивлена, что этот Фил, этот сердцеед, решил походя влюбить в себя школьницу.

Томку мои слова развеселили:

— Мама, перестань меня и себя запугивать. Если даже Фил согласится ждать меня три года, то и тогда я еще очень и очень подумаю.

— Каких три года?

— До восемнадцатилетия.

— Ах вот ты о чем. Собралась за него замуж? Бедняжка.

— У каждого своя судьба. Во всяком случае, одиночествовать, как ты, не собираюсь.

Поговорили. Сама, сама вскопала, засеяла, теперь жну. Прямо рок какой-то. Зачем я послала письмо? Зачем вызвала из небытия прошлое?

Поздно вечером, когда мы лежали в постелях и свет уж был выключен, Томка спросила:

— А Марина в детстве была красивая?

— Симпатичная. Пять лет ей тогда было. Она ведь Мария, и звали ее Машей. Почему-то она сердилась, когда ее спрашивали: «Машенька, хочешь в школу?» Огрызалась: «В сколу, сколу, провалитесь вы вместе со своей сколой».

— Не хотела в школу, потом плохо училась и в результате будет знаменитой артисткой.

— Не ехидничай. Спи.

Томка умолкла, но не уснула, наверное, думала о Филе.

А ко мне приблизилась Тарабиха — узловая станция, районный центр, куда занесло меня после института. И не в школу, как было предписано дипломом, а в редакцию районной газеты. Тогда я и познакомилась с родителями Марины — Полиной и Колей. «Познакомилась» не то слово, я жила у них в доме, была квартиранткой.

И тогда я не знала, и теперь уже вряд ли узнаю, откуда берутся грабители. С чего они зарождаются, как себя чувствуют, когда, ограбив ближнего или дальнего, возвращаются к своей обычной жизни? Испытывают чувство временной сытости или грабеж у них неутолимая страсть? Моя хозяй-

ка Полина грабила, не задумываясь над своими действиями, мне даже казалось, что это у нее какой-то врожденный инстинкт. Когда мы с ней рано утром врывались в вагон-ресторан, то в те считанные минуты, что скорый поезд стоял на нашей станции, Полина успевала не только купить там консервы, конфеты, печенье, но и прихватить на столах свернутые кульками бумажные салфетки, а из умывальника при входе — мыло вместе с половинкой пластмассовой мыльницы. Ни вилки, ни тарелки, ни полотняные салфетки Полина не трогала. Я ее как-то спросила, почему она более стоящие вещи не трогает, Полина объяснила: потому что это будет воровство, а она берет только то, мимо чего каждый умный человек не проходит. Была уверена, что грабить, то есть хватать с налету, что плохо лежит, дело естественное и ничего в том подлого нет. Если не она, то другой непременно возьмет. Однажды она сняла со стенда на улице прикнопленную газету, сложила ее раз пятнадцать, как на цигарки, и сунула в сумку.

— Зачем ты, ведь люди должны ее читать, — вырвалось из меня.

— Если такие грамотные, то пусть купят себе в киоске и читают. Пусть не норовят бесплатно. А я в магазин иду, разве там бывает обертка?

На базаре Полина становилась виртуозом в своем деле, так заговаривала зубы какой-нибудь деревенской тетке, что иногда вообще ничего за товар не платила.

Мне объясняла:

— Не обеднеют. Эти бабилы уже спят на день-

гах, ты в них вглядись — они же от богатства лопаются.

Я не вглядывалась, я и без вглядывания знала, что не лопаются: плюшевая жакетка была у них верхом моды, привозили ее в чистом мешке и надевали, распродав товар, отправляясь в центр городка в магазины.

Полина работала закройщицей в пошивочной мастерской. Сама шить не любила и, по-моему, не умела. Когда я собралась заказать себе в мастерской платье, Полина не разрешила.

— Я договорюсь с портнихой, — сказала, — она тебе дома сошьет.

Ей портнихи шили одежду дома. Шили как мстили, вечно кофты и юбки сидели на Полине коробом. Знакомые спрашивали: «Это ты сама себе смастерила?» Полина обижалась, говорила мне: «Зачем это мне самой себе шить? Я себе, если хочешь знать, и не крою, хоть и работаю закройщицей».

Я, конечно, знала, что Полина — зло и с ней надо бороться: отводить ее руку, когда она тянется за салфетками в вагоне-ресторане или сгребает втихаря помидоры с базарного прилавка, а наедине надо проводить эмоциональные беседы — стыдить. Но Полина не стала бы такого сносить, она бы меня тогда сразу же удалила со своего горизонта. Я жила у нее в доме и должна была закрывать на все эти «художества» глаза или уматывать на все четыре стороны. На «всех четырех сторонах» никто жилья не сдавал, да и уходить мне из теплого, чистого Полининого дома не хотелось.

Муж ее Коля тоже испытывал зависимость. Но

это была иная зависимость. Коля постоянно хотел есть и находился в ожидании обеда или ужина. Он зависел от еды, как машина от бензина, даже за водой отказывался сходить, пока не поест. Это был болезненно толстый, неповоротливый молодой человек, громко вздыхающий и постанывающий во время еды. Не сосчитать, сколько съедалось в этом доме кур, уток, сала и мяса самого разного приготовления. Пельмени Полина лепила тысячами. Она мне их продавала так же, как и картошку, капусту, — в долг и записывала в тетрадку, которая лежала обычно за зеркалом на комоде. Это было для меня большом благом, потому что, как известно, в магазинах ничего в долг не продают.

Полина, как и Коля, тоже любила поесть, но не толстела, была плотненькой, стройной, подвижной. Безбровая, с круглыми задумчивыми глазами, она производила впечатление мягкого, нерешительного человека. Но это было первое впечатление. В застольях, которые часто устраивались в их доме, голос Полины перекрывал всех, а смех был зычный и неприятный. Меня за стол не приглашали. Я уходила из дома к кому-нибудь из сотрудников редакции и там допоздна выслушивала байки про Полю и Колю. Их не любили. Рассказывали, как Поля закормила Колю до потери человеческого вида. Как Поля изменяла Коле с приезжим фотографом Серафимом. Я помалкивала, и мне говорили: «Молчи, молчи, она тебя тоже не пощадит, дождешься ты у нее своего часа».

Ну что мне плохого могла сделать Полина? Какого такого «своего часа» я могла дождаться?

Но дождалась. Произошло это летним днем в воскресенье. Я вернулась из дальнего колхоза, куда сздила в командировку, привезла корзину яиц, купленных недорого. Предвкушая, как сейчас зажарю большую сковороду, приглашу к ней Полю, Колю и Машу, вошла в дом. К моему разочарованию, печь уже была протоплена, чугун борща стоял на загнетке, а Поля и Коля, как это бывало по воскресеньям, сидели за столом и играли в карты.

— Вернулась? — Полина не повернула в мою сторону готовы. — Наливай себе борща. Мы уже отобедали.

Я поела и в благодарность присела к столу и стала смотреть, как они играют. Играли они молча, тягомотно, со стороны казалось, что обоим эта карточная игра давно надоела, но тянут ее, накрывают карту картой, потому что больше развлечься нечем. Играли в дурака.

— Что это мы все в эту детскую игру играем? — спросила Полина и посмотрела на меня. — Хочешь в очко?

Я пожала плечами: не умею. Слышала, конечно, про такую карточную игру, но правил не знала.

— Да там уметь нечего, — Полина оживилась и стала раздавать карты, — сейчас объясню.

— Ты, раньше чем объяснять, — сказал Коля, — предупреди, что игра на деньги.

— А она сама поймет, — Полина засмея-

лась, — как выиграет у нас разок-другой, так и поймет.

Нет, не желание выиграть заставило меня ввязаться в эту игру. И не чугун, стоявший на загнетке, послал мне приказ: борща наелась, теперь отрабатывай. Думаю, что я взяла в руки карты и стала обучаться этой игре без всякой причины, как многие из молодых берут в первый раз в руки сигарету или рюмку с вином. Это уж потом придумывается, что закурил с тоски, а запил с горя. Но мне превратиться в картежницу не грозило: они меня так обобрали, так обездолили мою и без того неустроенную жизнь, что о повторении подобного не могло быть и речи.

Мы играли с полудня до утра. Я проигрывала, но жажда отыграться и выиграть затмевала здравый смысл, и я умоляла продолжать игру. Так что можно считать, что я сама затянула себя в этот капкан — прямо-таки в астрономический по моей зарплате проигрыш. На всю жизнь врезались в память словечки той ночи: «...сними... подрежь... еще карточку... не боишься?.. ого!.. иду на банк!.. перебор...»

Я проиграла ровно восемь своих зарплат. Не называю сумму, потому что вскоре была денежная реформа, долг мой не уменьшился, но стал звучать не так зловеще, вроде бы как полегчал в десять раз. Я не сразу поверила, что это настоящий долг. Играли и играли. Плохое, конечно, дело карточная игра, но что поделаешь, случилось.

В понедельник была в редакции зарплата. Я пришла домой, вытащила из-за зеркала на комоде Полинину тетрадку и стала выплачивать долги за

квартиру, за картошку и другие. Рассчиталась и хотела уже оставшиеся деньги положить в сумку, но Полина опередила меня, улыбнувшись, сказала:

— Рассчитывайся уж до конца.

Я вспомнила свой ночной долг и, тоже улыбнувшись, протянула Полине остаток зарплаты. Она пересчитала и сунула деньги в карман. Я посмотрела на Колю. Он сидел как истукан и глядел на меня не мигая. Через день я сказала Полине:

— Мне нужны деньги. — Она молчала, и я объяснила: — Те, что ты у меня позавчера взяла.

Полина в удивлении склонила к плечу голову:

— Что-то я тебя не совсем понимаю. Разве ты забыла про должок?

Она и потом говорила — «должок». А тогда объяснила: карточный долг — самый благородный и обязательный. Я и без нее об этом знала: читала, слыхала, но такие долги были в старину, у настоящих картежников, при чем здесь я?

На работе никто не знал о моем проигрыше. Полине незачем было распространяться. Но я все равно жила в постоянном страхе. Карточный долг! В дурном сне не могла присниться такая беда. Жизнь превратилась в пытку. Я краснела, когда кто-нибудь задерживал на мне свой взгляд, и вздрагивала, когда меня вызывали к редактору или в секретариат. Все время ждала: «Как это ты, молодой специалист, вляпалась в такую историю?»

Раз в месяц вместе с другими долгами я выплачивала Полине и часть «должка». Полина, как я потом заметила, не очень спокойно относилась

к этим деньгам: хмурилась, когда брала их у меня, отворачивалась, когда совала в карман. Мне все время казалось, что играет она со мной в какую-то затянувшуюся дурацкую игру и вот-вот прервет ее и вернет «карточные» деньги. Но Полина об этом не помышляла, а меня не сразу, а месяцев так через пять потащило и закрутило в омуте долгов.

Это на словах звучит ровненько и разделенно: этот долг за квартиру, этот за картошку, а этот — часть «должка». В жизни же все было по-иному: долги налезали на долги, я у одних занимала, другим отдавала, продала часы, летние платья (была зима), а потом и одеяло и даже чемодан. Допродавалась до того, что Полина сказала:

— Что тебе в этой газете? Заболеешь, подохнешь, и никто не вспомнит. У тебя же диплом. Тебя запросто в столовую или в магазин возьмут.

— Не возьмут, — возразил Коля, — у нее подготовки практической нет и кость тонка, туда покрепче персонал нужен.

И тогда я ринулась за помощью к единственному человеку, который способен был мне помочь. Помочь и не разгласить тайны. Сказать: «Дурная голова». Без упреков: «Как ты могла, работник газеты, дипломированный воспитатель молодого поколения!..» Мама не поверила признанию в моем письме, что я потеряла деньги, ее сразу насторожили слова: «Одолжи мне побольше, сколько сможешь, я скоро отдам...» Мама приехала и сказала Полине: «Подавись теми, что взяла, а об остальных деньгах забудь. Это не долг, это грабеж. И не вздумай ни у кого искать сочувствия. Иначе будешь иметь дело со мной! Я за свою родную един-

ственную дочь жизни своей не пожалею, а тебя на чистую воду выведу!» Что у мамы хорошо получалось — это угрозы. Мне она в детстве как-то пригрозила: «Будешь обманывать, рог на лбу ночью вырастет. У всех вырастает, кто врет». Я поверила и частенько по утрам проверяла ладонью лоб. Почему-то не смущало меня, что вокруг такое правдивое человечество: ни у кого, ни на одном лбу даже намека не было на самый малюсенький рожок.

Я никому потом не рассказывала о своем карточном долге, боялась, что друзья мои посмеются, посчитав эту историю хоть и достойной сочувствия, но в то же время и смешной. А мы ведь вспоминаем о своих несчастьях, не рассчитывая на смех. Но когда Томке исполнилось четырнадцать лет и в ней стал проявляться мой характер, я решила ее уберечь от подобных переживаний в будущем и рассказала. Это был рассказ с четким назидательным сюжетом: к чему могут привести бездумность, азарт и уверенность, что все люди добры и порядочны. Томка выслушала меня внимательно и возмутилась. Нет, не Полиной — мной.

— Зачем ты выплачивала этот «должок»? — набросилась она на меня. — Надо было спокойным голосом сказать этой Полине: «Ну уж, извините, этот номер у вас не пройдет!»

— А честь?! Это же был долг чести!

Томка зашлась в смехе:

— Ну ты просто не мать родная, а какой-то старинный гусар! Какая такая честь? Она же тебя грабила среди бела дня, разве можно говорить о чести с грабителями?

Она меня смяла, моя Томка, откуда она это знала?

— Откуда ты это знаешь?

— Ниоткуда. С этими знаниями рождаются.

— Извини. Все не рождаются. Многие живут и о подобных грабителях не подозревают.

— Это пока их самих не затрагивает, — объяснила мне Томка, — а как только грабитель кого-нибудь лично тронет, то сразу и вопят, и возмущаются, письма в редакции шлют, судятся. Ты прямо с луны свалилась.

А мне показалось, что это она спустилась ко мне с какой-то планеты, где дети рождаются мудрыми, как Сократы.

— Томка, — сказала я, — а может, я зря кого-то виню? Может, Полина была просто жадной, а я — просто трусливой?

— Не исключено, — надменно произнесла Томка. — Хватит об этом. Не смогла тогда постоять за себя, так теперь уж нечего философствовать. Забудь об этом. Забудь навсегда.

— Может, разыскать их? Письмо написать?

— Напиши, напиши! — Томка уже подозревала, что весь этот разговор и затеялся ради письма. — Пригласи их в гости. Москву покажешь. В картишки с ними перебросишься. Только меня куда-нибудь отправь. Я их видеть не желаю.

Она протестовала, а во мне разгоралось желание узнать, как живут Поля с Колей.

— Знаешь, сколько ссйчас их Маше? — сказала я Томке. — Двадцать один год. Я ее плохо помню, но была она симпатичная, глаза как звез-

дочки, и вся такая длинненькая, плавная, как лента.

Томка это слышать не могла:

— Теперь еще и Маша! Мама, мне вредно столько твоего прошлого на один прием. Сажаем Машу в ящик письменного стола и задвигаем.

Потом Томка с годами стала понаивней и помягче, но тогда, в четырнадцать и в пятнадцать лет, уж она меня образовывала и воспитывала.

— Ладно, ладно, дочь Тамара. Буду вспоминать их беззвучно, про себя.

* * *

...Темно-вишневая говяжья печень лежит в тазу в сенях. Дух от нее парной, и по запаху слышно, что печень еще теплая. Коля стоит с засученными рукавами у стола, режет лук, с толстых его, по-детски безмятежных щек скатываются слезы. Полина растапливает печь. Я вхожу, и она спрашивает:

— Печень на твою долю жарить?

— А сколько за полкило?

— Не дороже денег.

Печь полыхает. Запах жареной печенки щекочет горло. Шкворчащая сковородка устанавливается посреди стола. Коля начинает вздыхать и стонать еще до еды. Поля не одобряет его нетерпения и говорит:

— Не мычи, сейчас все есть будем, на базар я эту печенку не понесу.

Мы едим быстро и жадно, только Маша ску-

чает. Щеки у нее, как у хомяка, забиты едой, она не жует, а словно дремлет с открытыми глазами.

— Жуй, — приказывает ей Полина, — глотай. Видишь, как папа старается?

Маша переводит взгляд на отца и вяло начинает жевать. Коля гладит ее по голове и подкладывает лучшие кусочки. Это, видимо, при его аппетите самое высшее выражение любви.

* * *

Письмо я им написала в конце октября. Может быть, холодные затяжные дожди, которые беспрестанно колотили по асфальту, подтолкнули меня к этому посланию. Оно получилось грустным, осенним: дескать, прошло столько лет, и вспомнилось прошлое — Тарабиха, они, Полина, Коля и Машенька, и если им будет не в большой труд, то пусть кто-нибудь черкнет мне пару слов, потому что из тех, с кем работала в редакции, вряд ли кто остался в Тарабихе, народ был в основном там приезжий.

Ответ пришел быстро. Больше всего Полину задело в моем письме предположение, что сотрудники, с которыми я работала в редакции, разъехались. «Зачем это им разъезжаться? — недоумевала она. — Очень даже хорошо здесь живут. Многие в местное начальство вышли, а один даже в областном масштабе заворачивает».

Кто этот один, она не сообщала и о себе ничего не написала, только про Колю и Машу. Коля уже давно сменил работу, «теперь служит не по ком-

мунальной, а по заготовительной части. А Машу не зовут уже Машей, она теперь Марина».

И все-таки была в письме новость, которая стоила всех остальных. Маша-Марина жила в Москве и училась на втором курсе театрального института. Ей был послан наш адрес и дан наказ повидаться с нами и заново познакомиться.

Томка даже растерялась от такой новости, пробовала острить, но глаза глядели растерянно:

— Просто какая-то кузница великих людей эта ваша Тарабиха. Ты, а теперь еще и Маша-Марина... Скоро будем ею гордиться, поползаем перед ней с просьбой о билетике.

Томка была не только растеряна, но и уязвлена. Почему-то причастность к театру какой-то Маши из Тарабихи ее оскорбила.

— Нет, — сказала я Томке, — ползать даже за лучшие билеты на премьеру не буду.

— Правильно, — отозвалась Томка, — тем более что эта Марина совсем не талантливая, а примитивная красотка. Красивым талант не нужен.

— Откуда такие сведения?

— Сама говорила, что она в детстве была симпатичная.

— Я не об этом. Почему это красивым талант не нужен?

— А зачем?

Как же я забыла, что пятнадцать лет — это еще и возраст отчаяния, когда зеркало говорит: некрасивая, некрасивая и уже никогда красивой не будешь.

— Затем, Томка, что хуже нет худшего, когда

человек красивый, да бесталанный. Красота сама по себе ничто, всего лишь тщеславие себе да зависть недоброму глазу. А талант — это радость и себе, и людям.

— У меня есть талант? — с опаской спросила Томка.

Я ее успокоила:

— Что за вопрос? Конечно, есть. У всех есть, только не все свой талант ценят. Всем бы только на сцену или в кино сниматься, а свой собственный талант готовы растоптать, предать.

И такие вот прекрасные воспитательные речи и вся наша с Томкой трудная, но искренняя дружба вспыхнули и чуть не сгорели одним светлым ноябрьским днем, когда пришла к нам Марина. Она пришла не одна. Позади нее на лестничной площадке стоял невысокий, щупленький, с миловидным помятым личиком театральный мальчик, которого бы я и на улице определила как незадавшегося, обиженного на судьбу актера. Он был в замшевой куртке и в узких вельветовых брючках, единственное, что спасало его внешность от жалкости, — это шевелюра. Пышные и густые завитки были мастерски подстрижены и уложены. Прическа каким-то образом придавала его уставшему лицу и тщедушной фигуре ореол значительности.

Я не ждала, что их будет двое, и все мои восторги, направленные Марине, — боже, как выросла, какая стала красавица, — сразу перемешались с заботой: чем же мне вас угощать, теперь просто обеда маловато. Я оставила Томку с гостями, а сама помчалась в магазин за пирожными и шампанским.

По дороге у меня, конечно, было время подумать: куда ты несешься, какое шампанское? Пришла дочка твоей бывшей квартирной хозяйки, а ты устраиваешь себе какой-то экзамен на гостеприимство. Никто ее, во-первых, с кавалером не ждал, а во-вторых, совсем не обязательно тебе, матери, пить вино в таком окружении, хоть и называется вино шампанским. Но где там! Гости были не просто гостями, а посланниками из того недоступного, удивительного мира, имя которому — театр, и все мои здравые мысли отступили.

Марина понятия не имела о моем карточном позоре, да и вообще дети за родителей не ответчики. Эта девочка, выросшая в доме, где съедался за день огромный чугун борща, сидела за столом как принцесса. Я не знаю, портила или украшала ее лицо косметика, скорей всего, она не играла никакой роли. Потому что синий цвет глаз, форму головы, длину шеи не изменишь никакой косметикой. А вот слова и даже голос можно приобрести. Марина говорила тихим, вкрадчивым голосом. Этим голосом она мне с порога подарила царственный комплимент: «Вы живете просто, мило и современно». После этого она меня не видела. И Томку она, по-моему, не видела, и этого, которого с собой привела, — Фила. Томка что-то не переставая рассказывала ему, а он глядел на нее с такой добротой, с таким пониманием, какие мог изобразить только очень способный актер, играя идеального старшего брата. Марина же изображала из себя балерину, которой нельзя ничего есть, а кругом такие яства, такие соблазны. А может, они ничего такого не изображали, а просто я на

них обиделась, потому что для меня за этим столом не оказалось места. В прямом смысле это место, разумеется, было, я сидела, как и они, на стуле, ела и пила, но на самом деле они меня к этому столу не подпустили. Мне трудно это объяснить тем, кто такого никогда не испытывал. Происходит это в одну секунду: была, была нестарым человеком, тридцати восьми лет, и вдруг превратилась не то чтобы в старуху, а в чучело или в пустое место. Мы тоже, как говорится, были молодыми, тоже избегали на своих празднествах старших, но здесь происходило совсем другое, здесь я принимала гостей. Почему же они посадили меня в ящик, как любила говорить Томка, и задвинули? И тогда я стала спасаться единственным способом, самым унизительным, но тогда я этого не знала: сообщила гостям о своей докторской, которая уже написана и на носу защита, о монографии, которую я с удовольствием бы им подарила, но осталось всего четыре экземпляра, неприкосновенных, для расклейки, так как обещано переиздание. «Знаете, кому раздарила книгу? В основном администраторам гостиниц, когда ездила в командировки. Чтобы дали номер получше». Я кое-чего своим хвастовством добилась. Фил спросил: «Какая у вас тема?» — «Декабристы». Фил поставил точку: «Вы молодец».

Если бы! Если бы я была молодцом, я бы отвела от Томки эту напасть в замшевой курточке. Я бы нашла слова, я бы его сразу развенчала. Но я опоздала, спохватилась, когда на Томкином лице уже плавала зачарованная улыбка, а глаза сияли. Единственное, на что меня тогда хватило, — это

отодвинуть от Томки бокал с шампанским и беспечным голосом сказать: «Этого ей на дом не задавали». Фил продолжил: «Бедные дети, ничего-то им нельзя, все-то им еще рано».

* * *

Томка уже два года боролась за свою личную неприкосновенную жизнь. Борьба шла с переменным успехом. Когда Томка терпела поражение, то начинала меня упрекать. Звучало так: «Другие матери все отдают своим детям и не лезут к ним в душу»; «Я уже не та Томка, какой была недавно, и хватит меня поучать...» Под такое настроение она покупала общую тетрадь и на ее обложке выводила фломастером: «Дневник». Этот дневник она не прятала. Лежал он, как провокатор, в открытую на столе и добивался своего: я его читала. Была надежда, что в нем будут подробно изложены Томкины претензии ко мне и к жизни, но дочери моей еще не был доступен анализ жизненных явлений. Ее внутренний мир довольствовался декларациями: «Сегодня начинаю новую жизнь!»; «Наташа права: Веня Сидоренко — серая личность, любить такого — впадать в непоправимую ошибку». Я собрала эти дневники и сохранила. В каждом из них были заполнены две-три страницы. Если к ним относиться всерьез, читать анализируя, то вывод напрашивался неутешительный: моя дочь год от года глупела. Потому что в первом дневнике написано: «Люди должны собраться и договориться, что войны больше не будет. Надо

всем объяснить, что и так все умирают. Так ведь лучше же умереть в старости, чем в молодости или в детстве». А через три года: «Мама никак не поймет, что не умеет жить. Почему-то у всех есть французские сапоги, а у нас «тепленькие», «удобненькие». Меня эта запись убила: купила две пары сапог, действительно теплых и удобных, и это — «не умею жить»?! Не выдержала и написала сбоку: «Дурочка! Приглядись! Неужели у всех французские сапоги?» Но Томка эту запись не читала, иначе бы она не смолчала.

Конечно же Томка, переполненная впечатлениями от воскресного застолья, должна была взяться за дневник. Она и взялась. На этот раз это была ярко-розовая амбарная книга, название которой Томка заклеила белым квадратиком, написав на нем такое ставшее уже родным слово «Дневник».

Это был особый дневник — Томка его прятала. Неумело, без навыка. Он лежал в пыли в узкой щели под шкафом. Изредка, намотав на палку мокрую тряпку, я уничтожала там пыль — так был обнаружен дневник.

Впервые я не смогла сразу раскрыть его. Нет, не благородство меня на этот раз остановило. Я с детства знала, что чужие дневники читать нельзя. Но это чужие! А какой такой чужой дневник может быть у родной дочери? Да и сама Томка, в общем-то, приучила меня читать свои дневники, бросала их где попало, да и секреты в них были мне все известные. А этот, спрятанный под шкафом, хранил в себе нечто зловещее.

Это была катастрофа, и виновата в ней я была

сама: зачем было писать Полине, какое прошлое, какие воспоминания, о чем? О том, как они тебя грабили? Хотела убедиться, что тот, кто ограбил один раз, ограбит и во второй, и в третий? Думала, что грабят только имущество, деньги? Не знала, что есть еще более страшный грабеж, когда крадут среди бела дня твоего ребенка? Руки у меня дрожали, и я очень долго не могла раскрыть эту пунцовую книгу. Ничего, я соберусь с силами, я прочитаю спокойно все, о чем написала Томка, и буду действовать. Я уже не та овечка, которая жила в Тарабихе! Я спасу свою дочь! Пойду в театр, вытащу на свет божий этого хорошо подстриженного служителя Мельпомены, я спрошу: думаете, это не преступление — влюбить в себя пятнадцатилетнюю девчонку, думаете, влюбленность в таких потасканных типов приходит к молоденьким дурочкам сама собой? Так вот, я вам сейчас открою глаза, я вам объясню, как это называется... Кажется, я унаследовала талант своей матери — угрожать.

Теперь понимаю, что все эти волнения были просто паникой, страхом за Томку. Я не успокоилась, читая ее записи, но это уже была другая тревога.

«...Ему не везет. Мама сразу это почувствовала и назвала его неудачником. Марину она тоже отнесла к этой категории. Какое счастье, что она не знает всей правды о Марине! Я не знаю, побежала бы мама в милицию или нет, но уж родителей Марины подняла бы на ноги. Мама вообще представляет жизнь как школьную тетрадку: постарался, написал правильно и красиво — получил пя-

терку, а насажал клякс, наляпал ошибок — и никого не вини, сиди и любуйся на справедливую двоечку. Некоторые родители измеряют жизнь своей молодостью: «Вот мы в наше время...» А мама — «другими». Эти таинственные «другие» живут где-то рядом, и вся их жизнь — пример сплошного благородства. «Вот другие такого бы себе никогда не позволили». В общем, этот дневник надо засунуть куда-нибудь далеко и надежно (любую новость она перенесет, только не ту, что я ее вижу насквозь). Так вот, дорогая мамочка...»

Она разговаривала со мной в своем дневнике — спорила, иронизировала, выказывала даже свое превосходство, но это, как ни странно, меня согрело и успокоило. Томка была вне опасности, хотя и встречалась тайком с Филом.

«Наверное, его очень удивила моя просьба. Я сказала: «Назначаю тебе свидание завтра в шесть часов утра у станции «Новослободская». Он, конечно, не согласился, и мы поссорились. Я сказала: «Разве ты Фил? Ты совсем не Фил. Фил — это Филипп, а твое полное имя Феликс». И тогда он рявкнул, обнаружив весь свой подлинный интеллект: «Слушай, а чего ты все-таки ко мне привязалась?» В самом деле, зачем я ему звоню? Марине он не поможет, говорить с ним не о чем, в театре он после училища уже четвертый год, и еще ни одной заметной роли ему не дали».

Меня возмутил ее приговор Марине, который она вынесла легко и безапелляционно:

«С Мариной все ясно: ей надо выйти замуж, и она выйдет. Я думаю, что она не спешит с этим

делом, потому что все-таки хочет выйти по любви».

А между тем «тайна Марины» стоила того, чтобы испугаться и забить тревогу. Полтора года назад она поступала в театральный институт и не поступила. Домой не вернулась. Чтобы родители не волновались и помогали ей материально, то есть посылали деньги и посылки, от них была сокрыта правда.

О том, где живет и работает Марина, да и работает ли, поскольку у нее нет прописки, я собиралась узнать у Фила. Это был хороший повод сообщить ему, что я знаю о его встречах с Томкой и хоть дочь моя человек достаточно умный и крепкий, все же ему пора выходить из этой затянувшейся непочтенной игры. Эту «затянувшуюся непочтенную игру» я старалась не забыть, именно эти слова, непроницаемые и, как мне казалось, интеллигентные, должны были ему сказать, что со мной шутки плохи. Короче говоря: оставь в покое ребенка, мерзавец.

Номер телефона я нашла все в том же новом дневнике. И мы встретились с Филом через час после моего звонка возле театра. В тот вечер шел нашумевший спектакль, на меня бросилось сразу несколько человек: «Нет ли лишнего билетика?» — и Фил сказал:

— Могу вам обеспечить явку на этот спектакль.

Я промолчала: не надо, чтобы он уводил наш разговор в ненужную сторону.

— Я пришла поговорить с вами о Марине и о

Томке, — сказала я печальным голосом, чтобы не очень пугать его поначалу.

— Я так и подумал, — отозвался Фил, — может быть, зайдем в кафе?

Я отказалась.

— Как это может женщина в моем возрасте зайти с молодым человеком в кафе?

— Я думал, вы без предрассудков.

— Думать можно о чем угодно, не обязательно об этом говорить. Меня обижают ваши слова — «без предрассудков». Я не только с предрассудками, но даже с суевериями. Я, например, верю, что человек за все расплачивается, даже за скрытые преступления. Он присуждается к расплате без следствия, суда и приговора, по какому-то невидимому телепатическому счету...

Фил остановился и послал мне хмурый, почти враждебный взгляд:

— Можно вас попросить выражаться попроще и ближе к делу?

Я не ждала такого выпада и растерялась. Пропала моя домашняя заготовка — «непочтенная затянувшаяся игра».

— Можно. Много лет назад Маринины родители обидели меня. Я не хочу сейчас об этом рассказывать, но коротко говоря — они меня тогда ограбили. Как мне кажется, они и дочь свою не пощадили, тоже ограбили, выпустили в жизнь налегке.

— Об этом мне ничего не известно, — прервал меня Фил. — Если бы у нее был талант и удача от нее не отвернулась, она бы сейчас училась в

институте и все недостатки ее родителей не имели бы к ней никакого отношения.

Он, кажется, защищал ее. Защищает Марину и отводит от себя ответственность за нее.

— Если бы да кабы! Но как она живет? Вы же лучше меня знаете, что она не живет, а болтается по жизни без профессии, без настоящих друзей. И родителей, какие бы они ни были, зачем их так жестоко обманывать?

Фил еще раз остановился, посмотрел на часы. Дал понять, что дальше он уже со мной не пойдет, так как разговор наш подходит к концу.

— Быть настоящим другом, — сказал он, глядя мимо меня, и лицо его выражало, что он потерял ко мне всякий интерес, — это высшее назначение человека. Но каждому кажется, что он преуспел в дружбе и готов делиться своими успехами с каждым встречным. Марине трудно помочь, но можно. Но для этого требуется не словесная сердобольность, а бескорыстные поступки. К сожалению, таких друзей у нее нет. Верней, этим друзьям самим бы кто помог. Кстати, родители ее знают, что она не попала в институт.

— Как это «знают»? Ее мать сама мне написала, что Марина учится на втором курсе.

— Ну, может быть, для того чтобы так написать, у нее были причины... — Фил развел руки в стороны и слегка поклонился: извините, мол, мне пора. Он застегнул две верхние пуговицы на своей курточке, провел ладонью по густой шевелюре и улыбнулся подкупающей, доброй улыбкой. — А насчет вашей Томки — как бы это вам поласковей сказать: будьте с ней поосторожней,

не задруживайтесь, она у вас чересчур активная и самоуверенная, некоторым это может показаться нахальством.

Томку он напрасно затронул.

— Вы ее мало знаете. Она светлый человек, искренний. А то, что она звонила вам, приставала, назначала свидание у метро «Новослободская», так это не она, это ее пятнадцать лет колобродили. Согласитесь, не к каждой ведь восьмикласснице заявится вдруг домой живой артист, не каждый будет ей оказывать внимание.

Он не стал со мной спорить:

— Да-да, конечно, я понимаю, вы безусловно правы...

И попятился, словно пополз от меня, потом повернулся и пошел быстрым шагом. А я осталась озадаченная: себя ли он играл, кого-нибудь другого? Но талант у него был, все его слова меня задели.

Вечером я написала письмо Полине. Извини, мол, если тебе покажется, что лезу не в свое дело, но надо спасать твою дочь. Я выговорила ей всю правду о ее грабительстве, а также о беспечном отношении к Марине, предлагала сесть в поезд и приехать в Москву. «Не в деньгах счастье, — писала я, помня скупость Полины, — конечно, они много значат в нашей жизни. Но если даже сложить миллион в кучу и поджечь — надолго не согреешься». Я уговаривала ее помочь Марине, пока не поздно, и если расходы на поездку тяжелы, то я вышлю ей пару сотен — не в долг, без отдачи. Видимо, слова Фила о словесной сердобольности и бескорыстных поступках сделали свое дело.

Ответ я получила не так быстро, как на первое письмо, но не дольше чем через месяц. Прочитав, я с досады и обиды сразу же порвала его, но запомнила почти дословно. Полина была в ярости: «Если надо будет, то поедем без ваших указаний. Как ездили до сих пор. А спасать будем того, кто тонет или у него температура сорок». Она обращалась ко мне на «вы» и ни разу не сбилась. «Если вы думаете, что лучше нас, то глубоко ошибаетесь. Что мы от вас умного или доброго видали или слышали, когда вы у нас жили? Ничего. В карты никто вас играть не неволил. И никто вам не виноват, что проиграли. Конечно, долги платить никому неохота». Заканчивалось письмо так: «А что касается должка, который вы весь не выплатили, то чем размахивать двумя сотнями, обещать их мне на поездку, лучше честно и благородно закрыть ими должок». В конце письма она приписала уже после своей подписи: «Марине деньги не отдавайте. Я ей посылаю, сколько надо, а эти надо вернуть мне, то есть тому, кому вы на всю жизнь задолжали».

ПЕЙТЕ ЦИТРУСОВЫЕ СОКИ

Я люблю рекламу. Ничего более дурацкого человечество не изобрело. Особенно люблю все эти призывы — ешьте, пейте, покупайте, когда их произносят элегантные, белозубые великаны с остановившимся надменным взглядом. У маминой подруги Тоши выработался рефлекс на этих стерильно-показательных молодых людей. Они еще только возникают на экране телевизора, рта не успевают раскрыть, чтобы сообщить, что мебель, которую предлагает фирма «Пукс», не роскошь, а стиль жизни, как Тоша уже орет:

— На трактор! Это же позор — такой верзила, а чем занимается! На трактор!

Я говорю:

— Тоша, а сама на трактор не хочешь? Ведь тоже не сеешь, не жнешь. Наверное, на тебя в твоей молодости не обращали внимания такие вы-

сококачественные мальчики, вот ты теперь и сводишь с ними счеты.

На Тошу мои слова производят впечатление, хотя я никто и ничто в ее глазах — дочь подруги, помеха и балласт в их дружбе. «Хвост в репьях», как она однажды выразилась.

— Кто это в молодости не обращал на меня внимания? — негодует Тоша. — И что ты вообще в этом понимаешь? Пятнадцать лет — самый придурочный возраст: нахамил старшему и уже герой. Не смей никогда мне говорить «в твоей молодости». В моей молодости я любила твоего отца, а он твою мать — вот и вся моя молодость коту под хвост.

Кому она это говорит? Все я про всех знаю. Никого она не любила. Просто она когда-то познакомила моих будущих родителей, и, конечно, не ждала, что они поженятся. Тогда и придумала, что уступила своего возлюбленного подруге, а сама на всю жизнь осталась при них третьей лишней. Ой, как мне смешны их исторические воспоминания о своем прошлом: кто был талантлив, кто бездарен и как они правы, что дело своей жизни всегда ставили выше кухни, мещанского благополучия и этих выродков, именующих себя мужьями.

Мои родители расстались, когда я была во втором классе. Тоша выходила замуж три раза. Когда они на кухне затевают свои разговоры, я включаю в комнате телевизор, смотрю на элегантных мальчиков, пьющих цитрусовые соки, и думаю: не надо на трактор, просто никогда не женитесь, пусть хоть вы будете на этом свете красивыми, необъ-

яснимыми и спокойными. Вы пустые? Ну и пусть, еще неизвестно, чем бы заполнилась ваша пустота. И если кто-то согласен, пусть красивая мебель будет стилем его жизни, а стиральный порошок «Ариель» подарит ему счастливые мгновения. Я не возражаю даже против шикарных лимузинов и загородных вилл. Кому это по карману — пожалуйста. Вот только, мальчики, как бы из этого кармана вытащить еще и благородство? Чтобы не раздувались от важности в своих лимузинах, не врали, не пилили своих ближних в дивных загородных строениях. Единственное, чего я не выношу, — это рекламу цитрусовых соков. («Пейте цитрусовые соки «Антей». Они прекрасны и прибавляют девять лет жизни».) Во-первых, нигде эти соки не продают, я специально искала. Во-вторых, что за наглость — девять лет добавочной жизни! Кто это подсчитал, как это можно проверить? Я даже написала на телевидение, хотя вообще никогда в редакции не пишу. Спросила схидно: «А стоит ли так удлинять эту бессмысленную жизнь?» И подписалась: «Аделаида Эдуардовна». Адрес указала свой, но никто мне ничего не ответил. А Катя, красивая и всегда печальная мамина подруга, когда я в третий или четвертый раз насела на нее с этими соками, пристыдила меня:

— Больше тебя ничего не волнует? Ты же зациклилась на этих цитрусовых. Пусть пьют, пусть живут лишних девять лет, тебе-то что?

— Какие еще цитрусовые? — Это уже мама. — Ее этот белобрысенький, что пьет из длинного бокала, интересует. Вот он точно всех пере-

живет на девять лет. Не успеешь включить телевизор, а он уже пьет этот сок, как лошадь.

Они смеются, они кажутся себе и друг другу очень остроумными. Молодыми, свободными и современными. Бедняжки. Пьют черный кофе, курят и смеются. А между тем ни одной из них — ни Тоше, ни Кате, ни маме — курить и пить столько черного кофе нельзя. Катя и Тоша певицы, поют в хоре, но у них есть и номера. «Номера» — это романсы, которые они поют в концертах дуэтом. Мама тоже когда-то пела, но у нее был и другой талант — она писала стихи. Если бы не ее раннее замужество, не я, родившаяся у нее в девятнадцать лет, а главное, если бы мой отец был хоть чуть-чуть человеком, у мамы была бы совсем другая судьба. Она бы создавала тексты для песен, а это теперь, когда столько вокальных групп, — золотое дно. Мама была бы богата, знаменита, но что уж теперь об этом говорить. Отец как взялся пить года через два после моего рождения, так и не мог остановиться. Он не сразу от нас ушел. Уходил, возвращался, пока мы с мамой не поменяли замки в дверях и не уехали в отпуск в Ялту. Я впервые попала в южный город, на море, там был такой чудесный базар с черешней и клубникой, такие волшебные пирожные в маленьком кафе на набережной. «Если он от нас навсегда отвяжется, — говорила мама, — мы каждое лето будем приезжать сюда и даже поедем в Болгарию и в Венгрию на озеро Балатон. Мы будем жить, как белые люда, без всего этого стыда и позора».

Когда мама узнала, что он женился, она позвала Тошу, Катю и других подруг, и они отпразд-

новали это событие. Катя сказала: «Мне жалко эту женщину, какая бы она там ни была». Они весь вечер проговорили об «этой женщине», жалели ее и радовались, что мама наконец-то окончательно и бесповоротно освободилась. А я плакала. Сидела в другой комнате, смотрела телевизор и ничего не видела от слез. Я не хотела, чтобы он жил с нами, пусть бы жил где-нибудь один, но не женился, был бы по-прежнему наш. Мы с ним тогда встречались тайком, он ждал меня возле школы, давал деньги и говорил: «Трать по делу и не попадись». Я всегда попадалась. Мама находила в моих карманах то обертку от шоколада, то совсем не нужный мне компас, а однажды я купила флакончик духов, прятала его, прятала, а потом разозлилась и вылила весь на себя. Мама сказала:

— Я давно догадалась, что он дает тебе деньги и ты прыгаешь с ними, как дурак с горячей картофелиной. Я тоже могла бы, причем по закону, получать на тебя алименты. Но не хочу. Он ни мне, ни тебе ничего не должен.

Она никогда не спрашивала меня, о чем мы с ним говорим, сколько дает он мне денег. А он приходил всегда пьяный и говорил, что любит меня и что когда я вырасту, то все пойму и не буду его осуждать. А я его и тогда не осуждала, я просто стеснялась его слипшихся, непричесанных волос, мятого ворота рубашки, боялась, что кто-нибудь из одноклассников увидит нас вместе, и уводила его поскорей от школы. Когда у него через три года, я тогда была в пятом классе, родился ребенок, мы уже не встречались. О ребенке я узнала случайно, от соседки по дому. Есть у нас во дворе

такая противная, злая сколопендра Самохина. Родится вот такой человек и сидит потом у подъезда на скамейке, караулит свою жертву. «А у папаши твоего теперь другой ребеночек», — сказала она. Я оторопела, но устояла: «Ну и что?» — «А то, что не пьет, говорят, он теперь. Знаешь, как мужчины сыновьям рады. Это же наследники». Мне бы уйти, но очень уж все это меня застало врасплох: «Значит, мальчик родился? А как назвали?» Сколопендра поняла, что ужалила, но не убила. «Это ты уж у них спроси. Что же это ты своего родного отца позабыла».

Я рассказала Тоше о ребенке, маме сказать не могла. Тоша успокоила меня:

— Тебе-то что? В няньки тебя не призовут. А все-таки какой-никакой, у тебя теперь братец. Единокровный. Когда же мать одна, а отцы разные, то единоутробный.

Мама моя загрустила. Не от того, что родился ребенок, а от того, что отец бросил пить. Сначала не поверила, а когда узнала, что действительно не пьет, сказала:

— Вот этого я ему никогда не прощу. Сколько я его об этом просила, сколько из-за его пьянства вытерпела. — А через несколько дней, все еще пребывая в своей обиде на отца, сказала вдруг мне: — А все равно он любил только меня. Пусть новая семья, пусть ребенок, но любви там нет.

Мы встретились с ним через два года на улице. Я уже почти не вспоминала о нем, а о ребенке и думать забыла, и вдруг, как кто-то веревкой сдавил мне шею, так я задохнулась, увидев его. И он сморщил губы, как от боли. Мы стояли так, потом

он подошел поближе и пошел со мной в мою сторону.

— Как зовут твоего сына? — спросила я.

— Захар.

— Очень странное для ребенка имя.

— Не знаю. У меня был друг Захар, еще в школе.

— А где он теперь?

— Не знаю.

Всех растерял и ничего знать не хочет. С матерью у него свои счеты, но разве можно свою единственную дочь бросить вот так, как он?

— Это правда, что ты не пьешь?

— Правда. А ты выросла.

Мы встретились случайно, и я спешила ему сказать все, что о нем думала. Мне не было жалко ни его, ни себя. Со мной шел рядом совсем чужой человек. Плохой человек. Пока пил, что-то в нем шевелилось человеческое, поджидал у школы, совал деньги. А завел новенького ребенка и прежнего из сердца вон.

— Что же ты так спрятался от меня?

— А ты ведь не искала.

— Я должна была искать?

— Да.

— Почему?

— Потому что любовь должна быть обоюдной. Я ждал, что ты придешь ко мне. А ты не пришла.

Такого поворота я не ожидала, я вообще не представляла, что он способен сказать такое. Он что-то перепутал: мы не друзья, не приятели, мы отец и дочь.

— Ты действительно ждал, что я приду к тебе?

— Действительно ждал. Ты уже забыла, а я помню: ты ведь чуралась, еле терпела. Я ждал, когда ты вырастешь и поймешь это сама. Я никогда не забывал тебя.

— Но ведь так можно прожить всю жизнь. Москва — огромный город. Мы могли бы никогда не встретиться.

Он пожал плечами, ему не хотелось меня обижать, но и сказать ему, кроме правды, было нечего.

— Ты права. Могли бы не встретиться. И виноваты в этом были бы оба.

Он все-таки опомнился, сообразил, с кем ведет этот жестокий разговор, оглядел меня, встряхнулся и сказал веселым голосом:

— Слушай, а пойдем-ка тебе купим туфли.

И тут мои силы кончились. Какие туфли? При чем здесь туфли? Нет уж, папочка, никакими туфлями ты от меня не откупишься. Не было у меня отца и не будет.

— Я пойду, — сказала я, боясь расплакаться, — может, еще когда встретимся.

Он крикнул мне в спину:

— Я буду ждать. Приходи.

И я ведь пришла. Узнала через адресное бюро, где он живет, и явилась, как последняя идиотка, через два дня с грузовичком в целлофановом мешочке для единокровного братца Захара. И до сих пор живу с этой тайной. Сначала обмирала от своего предательства, хотела рассказать Тоше или Кате, что хожу в дом отца, ем там суп «этой женщины», гуляю с Захаром в соседнем дворе, где качели, песочницы, но не рассказала. У них бы моя

тайна не задержалась, они ведь всерьез считают, что пятнадцать лет — придурочный возраст, и стали бы меня спасать от раздвоения. Тоша наверняка сказала бы: «Ты, как неверный муж, завела себе еще одну семью на стороне». А Катя стала бы горевать, жалеть маму: «За что ей столько несчастья? Сначала — этот алкоголик, теперь — ты». Они обе так насели бы на маму, что она возненавидела бы меня и сказала короткое, страшное слово: «Выбирай!» А как это можно выбрать? Грудному младенцу понятно, что родителей не выбирают. Так что я помалкиваю. Слушаю их разговоры, всякие над собой насмешки и сама не щажу их, когда они зарываются, и только одного не могу понять, почему с каждым днем мне все больше и больше их жалко. Иногда Тоша приносит вино. Раньше они пили вино и ругали моего отца-пьяницу, а теперь поют. Сидят на кухне и поют очень красиво, как на сцене. Мое сердце сжимается от невозможности сказать им правду, которую им никто никогда не скажет. А правда заключается в том, что все-то они знают и никакой новости уже не ждут от жизни. Знают, что мужчины все до единого хитрецы и бабники, дети, если им потакать, способны пожрать родителей вместе с потрохами, а дружба — это всего лишь убийство времени, упоительное убийство и бессмысленное.

Я однажды не выдержала и влезла:

— Как вы можете так про дружбу? Вы же подруги.

Тоша откинулась на спинку стула и закатила глаза, мол, изыди, подросток, со своей любознательностью, а Катя ответила:

— А вся жизнь — трата времени. Это только твои красавчики на экране не тратят ее впустую, запасаются здоровьем на сто лет жизни. Кстати, кто из вас пил эти цитрусовые?

— Все пили, — сказала мама. — Апельсиновый сок, мандариновый. Это особенность нашей рекламы — затуманить, запутать, чтобы человек не понимал, о чем идет речь.

— Он тебе действительно нравится? — спросила меня Тоша.

— Кто?

— Ну этот, блондин, который пьет соки.

— Знаешь, Тоша, — сказала я ей тогда, — оставь свою наблюдательность при себе. Кто мне нравится, тебе не узнать.

И мама за меня вступилась:

— Никто ей не нравится, отстаньте от нее. Моя дочь не ринется в этот омут раньше времени. Слишком выразительные примеры были перед глазами.

Я действительно стала скрытная. Тайны мои растут. Скоро год, как мне нравится один человек с автобусной остановки. Остановка эта возле нашего дома. В пять часов он появляется со спортивным рюкзачком за спиной и едет куда-то на сороковом автобусе, наверное, на тренировку. Я тоже топчусь в толпе на остановке, как будто жду свой автобус, и ухожу, когда он уезжает. Я не знаю, школьник он или уже студент. У него хорошее лицо, чистое, серьезное, наверное, он очень умный и волевой. Во всяком случае, у него такой вид. Если бы на мне тогда, зимой, когда я увидела его впервые, были красивая куртка и приличные

импортные сапоги, я бы с ним познакомилась. С общительностью у меня все в порядке. Но на мне была изъеденная химчистками дубленка, стоптанные ботинки, и я не рискнула. А весной, когда я высветлила свои длинные волосы и стала, по мнению одноклассниц, «очень эффектной», он исчез. Я толклась на остановке в Тошиной сиреневой блузе из ангорского пуха, встряхивала головой, ощущая на плечах тяжесть своих искрящихся, промытых французским шампунем волос, а его все не было. Вместо него с рекламного щита глядел на меня знакомый телевизионный красавец, держал в руке высокий бокал и обещал девять лет добавочной жизни. В этом был какой-то знак, какая-то подсказка. Я спрошу у своего незнакомца: «А где, интересно, продаются эти цитрусовые соки?» Он ответит тоже вопросом: «Захотелось прожить лишних девять лет?» Вот тут я и блесну: «Годы, молодой человек, лишними никогда не бывают».

В доме отца меня встречают без всяких восклицаний и любезностей.

— Это ты, Валентина? — спрашивает, приоткрывая дверь, жена отца. Она боится воров и всяких грабителей, на двери у них не цепочка, а довольно крупная цепь. Зовет она меня полным именем, и я ее по такому же образцу — Александрой. Меня поначалу смешило имя их сына: маленький, хорошенький, как девочка, а имя, как у какого-нибудь старого дворника, — Захар. Я вхожу в их маленькую прихожую, сажусь на скамеечку под вешалкой, сбрасываю туфли и надеваю тапочки. Их купила для меня Александра. Тапки — со-

участники моей жизни в этом доме, они уже хорошо поношены. Захар знает, когда на меня наброситься: тапки уже на ногах, но я еще не поднялась, и тут он с разбега обрушивается на меня. Наши головы на одном уровне, он визжит, валит меня на пол в кричит, захлебываясь от радости:

— Я тебя победил! — Потом, успокоившись, спрашивает: — Почему ты вчера не приходила?

Я не приходила и позавчера, вообще не бываю у них по многу дней, но у трехлетнего Захара все эти дни соединены в один — вчерашний.

— Не мешай Валентине, — говорит Александра, когда мы перебираемся на кухню, — дай ей спокойно поесть.

Она ставит передо мной тарелку борща темно-малинового цвета, я размешиваю белое пятно сметаны тяжелой мельхиоровой ложкой, ем и не могу удержаться от смеха, так изнывает Захар: он топает ногой, чешет маленькой пятерней затылок и громко вздыхает — не может дождаться, когда я покончу с едой и поступлю в его распоряжение. Он одинок. Мой приход — праздник в его жизни. Александра родила его в тридцать семь лет и до сих пор не может прийти в себя от этого события. Оставила любимую работу в больнице, где была старшей сестрой, и уже четвертый год кружит над своим чадом. Сначала мне показалось, что ее духовная жизнь на нуле, такая домашняя наседка, вся в кастрюльках и заботах о домашнем уюте. Но потом я прозрела и увидела: весь ее день, с утра и до вечера, пронизан счастливым и высоким чувством ожидания. Она ждет той минуты, когда вернется с работы муж. И Захара втянула в это

ожидание. Они оба ждут его, вся их жизнь подчинена этой встрече: посуда сияет, белье полощется, даже ненавистная каша съедается Захаром под флагом «вот папа придет и будет доволен».

Я не всегда дожидаюсь его прихода. Мне нельзя приходить домой поздно. Но зато в воскресенье, когда мне удается надолго выбраться из дома, я изучаю своего отца. И удивляюсь, чего это он при всеобщем преклонении перед ним такой не очень в себе уверенный и какой-то в своей домашней жизни чересчур старательный. Сам накрывает на стол, рвется вымыть посуду, однажды прихожу, а он шьет Александре юбку.

— Вот уж таких талантов в тебе не подозревала, — сказала я, уязвленная его занятием.

— А я, думаешь, подозревал?

За столом разговор чаще всего почему-то обо мне. Мне нечего от них скрывать, они сами в моей жизни большая тайна, и все другие тайны как бы складываются в одно в то же место. Я им даже поведала о своем незнакомце с автобусной остановки. Сказала, что пора бы мне уже с ним познакомиться, да вот как?

— Зачем тебе это знакомство, — сказал отец, — а вдруг он дурак, балбес, криминальная личность? Познакомиться проще простого, а вот куда потом это знакомство заведет?

— Рассуждаешь, как самый дремучий отец, — сказала я, — нет чтобы дать дельный совет: садись в этот же автобус, узнай, в какой спортзал он ездит, запишись там в какую-нибудь секцию, в общем, поставь себе цель и добейся. Вот что должен был сказать современный отец.

— Ну, если такие подвиги тебе по плечу, — действуй, — без всякого энтузиазма согласился он. — Но только, по-моему, много ему чести. Это ведь по мужской части — выслеживать, ломать голову насчет знакомства. Но если тебя это не смущает, что я могу поделать?

Александра молчала, и я обратилась к ней:

— А вы, Александра, что скажете?

— Не знаю, — смутилась она, — я ни в кого не влюблялась на расстоянии.

Это уж точно, она на расстоянии не влюблялась. Чтобы влюбиться в такого, как мой отец, каким он был тогда, надо было войти с ним в соприкосновение: вытащить из лужи или канавы. И я их не пощадила.

— А вот вы, интересно, как познакомились? — спросила я. — Кто кого выслеживал, кто кого добивался?

Александра вспыхнула и вышла из комнаты. Отец покачал головой и пристыдил меня взглядом, дескать, распустили мы тебя, зарываешься. Потом, когда он провожал меня до метро, я извинилась:

— Нехорошо получилось. Я понимаю. Но и ты должен меня понять: я ведь вам доверяю все свои тайны, вы для меня больше, чем друзья, а я для вас — так, нечто, дочь от первого брака.

— Дело не в этом, — ответил он.

— А в чем?

— В том, что никогда нельзя с любым вопросом лезть к человеку. Ты уже скоро будешь взрослая и должна сама это знать, как и то, что ни с кем не стоит знакомиться на улице.

Я не знала, что он может меня так обидеть. Зачем я к нему хожу? Любоваться его замечательным сыночком? Смотреть, как он шьет юбку Александре?

— Уж если начал, то договаривай, — сказала я. — Скажи о том, что я должна быть честной, никому никогда не врать, особенно матери, а то ведь она не знает, куда я исчезаю, за чьим столом сижу, кто меня после большого перерыва взялся воспитывать.

— Я тебе лучше другое скажу: ты никому ничего не врешь. Это не вранье.

Он положил мне ладонь на плечо, повернул меня лицом к себе, мы остановились.

— А я вот в детстве врал. Без всякой нужды. И мама моя, твоя бабушка, просто с ума сходила от этой моей привычки. И когда я что-то такое однажды соврал уж совсем невыносимое, мама сказала: «Я забыла тебя предупредить, но именно после такого вранья ночью на твоем лбу должен вырасти рог. Так что утром не удивляйся». Мне было одиннадцать лет, и я к тому времени слышал уже немало угроз, так что и эту пропустил мимо ушей. Но утром на лбу, прямо над носом у меня появился рог...

Он искал примирения, рассказывая эту детскую историю, а я все еще дулась, глядела в сторону. Дулась и понимала, что он единственный в мире мужчина, которому необходимо мое хорошее настроение, что я его дочь уже навсегда.

— Сначала это был просто затвердевший кружочек, потом стал набухать, и розовый рожок, проклюнувшись, рос и рос. К тому же этот мой

позор еще и болел. Я сложил ладонь ковшиком, прикрыл эту шишку на лбу и поехал в детскую поликлинику. Там врачиха, когда я ей поведал о своем несчастье, хохотала, как безумная. Позвонила в другой кабинет своей подруге, тоже врачихе, и они обе помирали от смеха. Потом объяснили: «Ну с чего ты взял, что это рог? Это фурункул, иначе говоря, чирий, скажи маме, чтобы купила тебе витамины». И дали рецепт.

— Ну и купили тебе витамины?

— Этого не помню.

— Папа, я не сержусь на тебя. Ты был замечательным в детстве, таким и остался.

— А ты в детстве была лучше, — сказал он и ушел, не попрощавшись.

Тоша и Катя уехали на гастроли. К маме подрулила на собственных «Жигулях» новая подруга, то есть не совсем новая, а как бы вынырнувшая из небытия подруга детства по имени Вита. У этой Виты была где-то на Истре дача, но они не приглашали меня туда подышать чистым воздухом, а только привозили сливы, яблоки и кабачки, и обе все время куда-то спешили. Как потом я узнала, Вита отбывала на жительство в Америку, продавала машину и дачу, прощалась с друзьями. Маме перепали по дешевке кое-какие Витины вещи, заодно и мне.

Приближалось первое сентября, и я радовалась, что предстану перед одноклассниками в новых туфлях, с большой итальянской сумкой через плечо. Жаль, что нельзя было надеть серебристое трикотажное платье, очень уж был большой вырез, почти декольте. Эту Виту сам Бог мне

послал. Конечно, я не буду ни с кем знакомиться на автобусной остановке. Но может же такое случиться, что этот парень, заметив меня в обновках, сам подойдет ко мне и что-нибудь скажет. Вроде того, что «я вас никогда здесь раньше не видел». «А вы и сейчас меня не видите, — отвечу я невозмутимо, — вы видите мое платье, сумку, мои прекрасные волосы и больше ничего. Человека вам увидеть не дано».

Тоша, мой придурочный возраст, кажется, кончается. Папа, не волнуйся, он не балбес, он просто примитивный дикарь, если бы я надела на себя еще пять пар бус, он бы вообще от восторга умер.

Но, кажется, я с ним очень жестока. Я ему отвечу более спокойно: «Я вас тоже здесь никогда не замечала». И мы внимательно посмотрим друг на друга, и тут он вспомнит меня и вздохнет: «Я все-таки вас здесь видел, но я так всегда спешил, а вы совсем на меня не обращали внимания...»

Как прекрасно, когда человек может явиться к своим близким с дарами в руках. Я отобрала самые крупные сливы, самые красивые яблоки, а желтый, в розовых разводах кабачок был вообще произведением искусства, сложила все это в полотняную сумку и всю дорогу радовалась ее тяжести и благоуханию. Ехала в вагоне метро и представляла, как они все это будут есть и радоваться, особенно Захар. Не потому, что никогда не ели таких вкусных яблок и слив, а просто не ждали, что все это привезу я. И они не подвели мои ожидания. Захар вцепился в сумку с таким визгом и ликованием, что мы с Александрой еле

отцепили его. Отец стал накрывать стол в комнате, как в праздник. Александра хозяйничала на кухне. Захар бил меня кулаком, когда я отвлекалась от него и вступала в разговор с отцом. Это был ужасный ревнивец, уж что принадлежало ему, то только ему.

— В честь чего ты сегодня такая нарядная? — спросил отец, когда мы покончили с золотистым фасолевым супом и приступили к тушеным овощам, среди которых был и мой замечательный кабачок. — И знаешь, что я заметил: у тебя за лето выгорели волосы, и эти светлые пряди тебе идут.

Мы с Александрой прыснули, пригнув головы к тарелкам. Отец вскинул брови: что такое?

— Ты никак не можешь привыкнуть к тому, что дочь твоя выросла, — сказала Александра, — волосы у нее подкрашены.

Она, наверное, и в детстве никогда не врала, я бы про то, что волосы у меня выкрашены, отцу не сказала бы. Зачем? Пусть бы думал, что это солнечные лучи так меня приукрасили. Что бы изменилось в мире от этого заблуждения?

— Да, я выросла, — сказала я, — и уже могу носить мамины платья. Знаете, надоело — подросток, подросток, придурочный возраст, хочется уважения.

И тут вклинился Захар и насмешил нас.

— Пусть она не уходит, — сказал он обо мне серьезно и раздумчиво. — А то один раз придет, а потом три раза не приходит.

Он тоже подрос, прошедшие дни у него уже не складывались в одно словечко «вчера», он уже счи-

тал до трех, и это «три» было чересчур большим сроком для разлуки.

— Главное, Захар, не в том, что она уходит, а в том, что приходит. Правда? — сказал отец.

Захар подумал и согласился:

— Правда.

Отец опять провожал меня до метро. Было еще светло, и в наступающих сумерках отчетливо виделось, что деревья пожелтели, небо стало ниже — лето прошло.

— Мне понравились твои слова, — сказал отец, — насчет того, что хочется уважения. Знаешь, что такое уважение?

— Кто этого не знает, уважение — есть уважение.

— Уважение — это одобрение, — уточнил он, — нет такого человека, который не жаждал бы одобрения.

— Наверное, все тебя одобряют, что ты вылечился, не пьешь, что у тебя новая жизнь?

Я не зарывалась, я чувствовала, что сейчас с ним можно говорить о чем угодно.

— Не все так просто, — ответил он, — от этого не вылечиваются. Лечение только помогает остановиться, но стоит выпить хоть немного, и все начнется сначала.

Я испугалась.

— Но ты ведь не выпьешь? Никогда? Ни капли?

— Что ты так испугалась? Никогда. Ты же в это веришь?

И я сказала то единственное, что надо было сказать:

— Я тебя люблю, уважаю и одобряю.

Он не откликнулся на мои слова и мне бы промолчать, но что-то меня дернуло.

— А маму ты никогда не вспоминаешь?

Он и на это ничего не ответил, шел, молчал, потом спросил:

— Она поет?

Вопрос показался мне странным, но я ответила на него обстоятельно:

— Иногда вместе с Тошей и Катей они поют на кухне.

Возле метро, прощаясь, он долго не выпускал мою руку из своей, что-то ему надо было еще сказать. Я не выдержала:

— Папа, ну говори. Я все пойму, ты не пожалеешь.

Он усмехнулся и выпустил мою руку.

— Нет, этого ты еще не поймешь.

— Плохо ты меня знаешь. Я уже поняла. Значит, ты не забыл ее, неужели до сих пор любишь?

Он нахмурился, поглядел на меня укоризненно, словно в чем-то обвиняя, потом отвел взгляд и сказал те же слова, что я уже слышала:

— Не все так просто.

В переполненном вагоне метро над головами пассажиров возвышались цветы — белые и красные свечи гладиолусов, букеты астр и хризантем. Завтра — первое сентября, завтра эти цветочки перекочуют в школы. Впервые я радовалась, что в вагоне людно, что меня толкают, теснят, впервые у всего этого был смысл — люди спасали цветы.

Я не знаю, как бы я выдержала все то, что

произошло потом, если бы не мой разговор с отцом и не эти цветы в вагоне. На автобусной остановке я увидела его. Без рюкзака, в синей жокейской шапочке, с белыми гвоздиками в руке. Рука была согнута в локте, в цветы торчали на уровне груди. С таким же успехом он мог бы держать высокий бокал с цитрусовым напитком. Реклама у него за спиной словно передразнивала этот жест. Но он этого не видел. Он вообще ничего не видел. Даже своего автобуса не заметил. Сороковой номер забрал пассажиров и отчалил, а он остался со своими цветочками. Я насторожилась, цветочки были южные, не те, с дачных участков, что возвышались в метро. Ну что ж: он ждет, и я дождусь. И мы дождались. Мне стало полегче, когда я ее увидела: личико — сплошная косметика, а вообще-то глазки маленькие, нос прищепочкой. Что в ней было более-менее хорошего, так это рост. Длинная такая, узкая и плавная, как лента. Никого я никогда не рассматривала так свирепо. Злость и обида ни в каких делах не помогают, но тут они мне помогли. Я увидела в ней то, чего во мне нет и никогда не будет: она считала себя подарком. Сказочным подношением, спустившимся с небес. Надо было видеть, как она взяла цветы, как по-царски глянула на моего незнакомца своими несуществующими, утонувшими в черной замазке глазами. «Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть», — стучало у меня в груди, когда они, обнявшись, удалялись от меня в темноту.

А на остановке уже горели фонари, люди выходили из автобусов, другие в них входили. А я стояла, как приклеенная, и чего-то еще ждала.

Может быть, что кто-то подойдет и скажет: «Не горюй и никогда больше не лови журавлей в небе». Или я сама себе скажу: «Любовь — это не то, когда тебя, красивую и нарядную, обнимают и ведут куда-то. Я уже знаю: любовь — это когда ты, как Александра, варишь борщи, растишь ребенка и ждешь, ждешь, весь день ждешь встречи с человеком, которому ты своим одобрением помогла стать человеком».

Я подошла к рекламе. Шикарный парень глядел на меня все тем же своим остановившимся взглядом, а в тексте, обещающем девять лет добавочной жизни, кто-то губной помадой пририсовал еще одну девятку. 99 лет! О таком подарке человечество и не мечтало. Я подмигнула парню с бокалом: ничего, дорогой, времени впереди — навалом, когда-нибудь и нас полюбят, не пропадем!

Оглавление

Мамин жених 3
Мой сосед Григорьев 19
Старшая сестра 42
Маленький медведь с колокольчиком 61
Как было — не будет 89
Осложнение на сердце 115
Поцелуй эту лягушку 137
Бал в музее 153
Такая долгая игра 172
Пейте цитрусовые соки 200

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ ДЕВЧОНОК

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Коваленко Римма Михайловна

МАМИН ЖЕНИХ

Редактор *Н. А. Рыльникова*
Художественный редактор *О. Н. Адаскина*
Технический редактор *И. В. Сидорова*
Корректор *Е. П. Новикова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 28.03.2000.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская. Печать офсетная.
Гарнитура «Бодони». Усл. п. л. 11,76. Тираж 10 100 экз. Заказ 2136.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиенический сертификат
№ 77.ЦС.01.952.П.01659.Т.98 от 01.09.98

ООО «Издательство Астрель»
Изд. лиц. ЛР № 066647 от 01.06.99
143900, Московская обл., г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 81

ООО «Издательство «Олимп»
Изд. лиц. ЛР № 065910 от 18.05.98
123007, Москва, а/я 92.
E-mail: olimpus@dol.ru

ООО «Издательство АСТ».
Изд. лиц. ИД № 00017 от 16.08.99.
366720, Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Кирова, 13
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35—305.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.200.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика в типографии издательства
«Белорусский Дом печати». 220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

ЛУЧШИЕ КНИГИ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

✦ **Популярнейшие многотомные детские энциклопедии:** "Всё обо всем", "Я познаю мир", "Всё обо всех", "Современная энциклопедия для девочек", "Современная энциклопедия для мальчиков".

✦ **Лучшие серии для самых маленьких** – "Моя первая библиотека", "Русские народные сказки", "Фигурные книжки-игрушки", незаменимые "Азбука" и "Букварь", замечательные книги известных детских авторов: Э.Успенского, А.Волкова, Н.Носова, Л.Толстого, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто, А.Линдгрен.

✦ **Школьникам и студентам** – книги и серии "Справочник школьника", "Школа классики", "Справочник абитуриента", "333 лучших школьных сочинения", "Все произведения школьной программы в кратком изложении".

✦ Богатый выбор учебников, словарей, справочников по решению задач, пособий для подготовки к экзаменам. А также разнообразная энциклопедическая и прикладная литература на любой вкус.

Все эти и многие другие издания вы можете приобрести по почте, заказав

БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

по адресу: 107140, Москва, а/я 140. "Книги по почте".

Наши фирменные магазины в Москве:

Каретный ряд, д.5/10. Тел.: 299-6584, 209-6601. Арбат, д.12. Тел. 291-6101. Татарская, д.14. Тел. 9592095. Звездный бульвар, д.21. Тел. 232-1905 Б.Факельный пер., д.3. Тел. 911-2107. Луганская, д.7 Тел. 322-2822. 2-я Владимирская, д.52. Тел. 306-1898.

В Санкт-Петербурге: Невский проспект, д.72, магазин №49. Тел. 272-9031 Проспект Просвещения д.76, тел. 591-2070

Книга-почтой в Украине: 61052, г. Харьков, а/я 46, Издательство "Фолио"

Larisa_F